

НИКОЛАЙ,
ПЕРОВСКИЙ

КНИГА
КНИГА

2014

ББК 84(2=411.2)6

П 27

Составители: *Л.И. Перовская, М.Н. Перовская,
Г.А. Тюрин*

Художники: *Ольга Душечкина, Михаил Душечкин*

Перовский Н.М.

П 27 Книга книг. Избранные стихотворения. – Орёл: Издательство «Вешние воды», 2014. – 464 с.

«Книга книг» объединяет в себе лучшие стихотворения и поэмы, публиковавшиеся в книгах, изданных при жизни Николая Михайловича Перовского (1934 – 2007). В последнем разделе представлены стихи, не входившие ранее в его книги. Вступительная статья подготовлена дочерью поэта М.Н. Перовской.

В три года от роду Николай Перовский остался без родителей, прошёл нелёгкое детдомовское детство, вобравшее в себя весь ужас Великой Отечественной войны и трудности эвакуации, перепробовал много профессий. На страницах книг Н. Перовского, члена Союза писателей СССР с 1964 года, отпечатались радостные и горькие потрясения эпохи, но любовь и нежность поэт пронёс через всю свою жизнь до смертного часа.

ПОЭЗИЯ КАК КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

*Жизнь сама по себе и всегда – кораблекрушение...
Терпеть кораблекрушение не значит тонуть.*

Х. Ортега-и-Гассет

Ортеговская интуиция адресована поэтическому миро-восприятию, «которое само по себе и всегда» мироколебание. Попробуйте твёрдо стоять на земле и трезво смотреть на вещи – и неоткуда взяться стихам. Тут либо – либо! «Упал в траву и обнял землю» или «...Смирись и глаза отведи!» – дикая Гея и прирученная Деметра не прекращают межевого дела, но поэт так и норовит перемахнуть запретную канавку, пасть жертвой основателя Рима и возродиться авгуром.

Постигнуть целое и часть,
зайти за грань и не упасть,
связать с безумством осторожность.

И ты приемлешь эту власть
от птичьей жизни заполошной
и от канавы придорожной.

Для Николая Перовского в этом жертвенном падении и взлёте – суть поэзии, поэзии как ауспиции, гадания по полёту птиц.

На весенние рощи и чащи
прямо с крыльев летучих зарниц
опрокинулся вещей и вящий
звон и гомон разбуженных птиц.

Ловить «лучезарный, светозарный посвист крыл», «по хвостинке, словно грач, свивать гнездо своих удач», томиться «перелётной страдой», бормотать «сюда летите, гуси-лебеди, летите, белые, сюда!» и в конце концов стать сиротой и птичьим сородичем – в этом участь поэта.

Цвели цветы, и пели птицы,
своею жившие судьбой,
лишь он не знал уже границы
между природой и собой.

Да и в самом его обличье,
в смешной бесплотности его
вдруг завелись повадки птичьи
и травяное естество.

Над чем парит и куда падёт душа поэта, где пределы её ойкумены? Когда-то во времена ренессансного напряжения Марсилио Фичино назвал человека «скрепой мира», посредником между «высшим» и «низшим» – это вдвойне о поэте! Стихосложение – поиск в высоту и в глубину, полёт турмана, сиротский поиск родового гнезда.

Душа гнездится в небесах
и презирает хлеб насущный...
...У поэта дома нет,
нету, милый, мамы...

Значит, поэзия безродна? Человек поэтического духа и аналитического ума Карл Юнг отыскивал истоки вдохновения в глубинах родовой памяти. Коллективное бессознательное беременно сумасшествием и снами, бессонницей и стихами. Там размыты границы времени и пространства, там правит сопричастность. Опустись – воссоединишься с праотцом Адамом, которому Бог дал право именовать вещи, наделять мир смыслами.

Неотвратимо, выше, глубже, шире
рассудок проникает в бытие.
Найти ещё не найденное в мире,
найти и дать название своё!

Но взгляд из глубины чреват кессоновой болезнью...

Причуды, страсти, праздность гения,
всемирной славы торжество, –
кто знает цену откровения,
надрыв и жертвенность его?

Поэт всегда на грани, «на переломе и на стыке», а значит, во власти стихии, кораблекрушения – последний корабль на последней волне,

... полёт и паренье над бездною.

Из первородных глубин вынырнешь на буриданово стояние между эпикой и лирикой: вопросы – эпические, ответ – лирический.

Какой судьбы, какие кисти
тебя сметали по сусекам?
Так собирает осень листья
по лесосекам, по лесосекам. /.../

Листва раскинется периной,
лопух подушкой обернётся,
шатёр небес согреёт спину,
и жизнь вернётся, и жизнь вернётся...

Ритмика природы задает пульс стиху: длительности, паузы, всплески сердечной синкопы. «Ходики пульсируют на стенке, / за окном пульсирует звезда», – ночью виднее и слышнее... Лирика Николая Перовского бессонна: время суток, времена года, «очертания гор и морей» складываются в хронотоп черновика.

Сближать мгновения с веками,
весенних мыслей ручейками
вливаться в океан листа!

Душа чиста черновикам,
и манит жизни полнота
опять от каждого куста.

Сквозная семантика бессонницы коренится в фактах биографии и архетипических актах судьбы.

Этот город, войною не тронутый,
вековечный, глубинный, лепной,
застоялся в душе, точно в муфте,
с минаретом, с арыком, с луной.
С ишаками, надрывно ревущими,
с кизяками в метровой пыли,
с мавзолеями, в небе несущими
азиатские шпильки свои.

Попробуйте вдохнуть это азиатское любование! Не переживешь, не надышишься. Когда в пространстве сна и бессонницы личное переживание впадает в родовое русло, открывается эпическое дыхание.

Время шутя проникает в любую лачугу и крепость – вечный свидетель зачатий, смертей и стирки белья, лепит из наших ничтожных страстей героический эпос и надзирает за нами в тюремном кругу бытия.

В лиро-эпических колебаниях прорастает раздвоенность части и целого, драма межевания земли и тверди. Лирическая бездомность сквозит поиском «небесной столицы»: там, на горизонте, в глубинах поэтической кухни, поднимается волна-стена – узость мирской клетки преодолевается в стихе.

Воздвигнув стены и стропила,
Ты щель оставил в потолке,
дабы соблазном ослепила
меня свеча в Твоей руке.

Я пёс, бездомный и поджарый,
 закрытый в будке на засов,
 скулю и вою на Стожары
 и на созвездье Гончих Псов.

Николай Перовский прожил жизнь «послушником природы» и поэтом:

рождённый в марте:

Давай, зима, на посошок
 пригубим мартовской капли!
 По свету носится слушок,
 что на подлёте птички трели...

умер в сентябре:

Сентябрь не месяц – время года!
 И по нему плывут, шурша,
 моя осенняя природа,
 моя осенняя душа...

погребён на узкой полоске земли, бывшей свалке:

А Зодиак диктует ходикам,
 что нам, спелёнутым холстом,
 смирить свой пыл под серым холмиком,
 под покосившимся крестом...

на изгибе мраморного листа: «Ибо не гибель, а возвращение в лоно»

(«Терпеть кораблекрушение не значит тонуть!»).

Поэзия непотопляема: в ней «всякое дыхание славит Господа», физика оборачивается метафизикой, ауспиция – длящейся мистерией Голгофы...

А этот зябкий березняк
 и этот паводок весенний –
 вселенский праведный сквозняк
 в канун Христова воскресенья.
 Две тыщи лет – из года в год –
 дух торжествует над каноном,
 и каждый праздничный восход
 кропит пасхальным перезвоном.

М. Перовская

ЗВЁЗДЫ
ДЕЛАЕТ
ЧЕЛОВЕК



1961

Я к небу стремился путями любыми,
и стали глаза у меня голубыми.
И в самый ответственный в жизни
момент
глаза предъявил я, как документ!
В них – небо.
Они не умеют фальшивить.
И люди не побоялись ошибок –
поверили им.
Спасибо...
Я знаю –
«спасибом» всего не отбудешь:
это не трудно – слово сказать.
Но вы,
как и прежде,
верьте мне, люди!
У меня,
как и прежде,
небо в глазах!

ОКРАИНЫ

Я люблю городские окраины –
их дома и пустынные площади
щедро небом и солнцем окрашены,
да и люди здесь, кажется, проще.
Полугород. Полудеревня.
Где мальчишки по древней привычке
могут рвать штаны на деревьях –
в центре это ведь неприлично...
Здесь весна, половодьями буйная,
с яркой зеленью и подснежниками.
Здесь зима с настоящими бурями!
И дома, как в деревне, – заснеженные.
В день ли праздничный или воскресный
до ночного глубокого часа
здесь услышишь старинные песни,
те, что в центре поются не часто...
Эти стороны,
эти заставы,
то разгульные, то суровые,
крепко помнят хорошее –
старое.
И влюбляются в лучшее –
новое.

АППАССИОНАТА (баллада)

Он слышал в ней
и птиц весенних трели,
и выстрелы сверхмощной батареи,
и что-то непонятное,
большое,
зовущее и к жизни,
и на бой!
И он бежал к учительнице:
– Что это?
А дома мать качала головой.
Он с неохотой ехал в дальний город –
скучал по матери,
далёкому селу...
Потом профессора негромкий голос:
– У вас, мой мальчик, абсолютный слух.
И он спешил...
Он через месяц ровно
играть её профессору пошёл.
– О нет,
мой мальчик,
это не Бетховен.
Сыграйте-ка мне гамму «до мажор».
А пальцы продолжали оступаться.
Профессор был спокоен и назойлив,
но он играл,
натруживая пальцы,
не замечая времени и боли!

Война...
Он видел сам,
как из-за леса
на город налетели самолёты

и как лежал недвижимый профессор,
бинтами,
точно саваном,
обмотан...
А рядом –
высеченный из гранита,
взрывною силой сброшенный Бетховен,
казалось,
небу знойному грозит он
своей могучей каменной рукою!

Привыкшие к нагрузке непомерной,
к работе изнурительной и нервной,
чувствительные руки пианиста
освоились с винтовкой очень быстро.
Но снился по ночам не раз солдату
на много тысяч мест концертный зал,
где он играет «Аппассионату»,
и он,
проснувшись,
вытирал глаза.
Он видел столько горя,
столько крови.
Россию и Европу он прошёл,
он немцев бил за немца,
за Бетховена,
как «бил» когда-то гамму «до мажор».

Он не играл.
Он думал, что, наверно,
ему теперь и гамму не суметь.
Но вот в полуразбитом доме Вены
старинный отыскался инструмент.
Солдаты усмехались:
– Завалищий!

– Не тронь его –
он сам «сыграет в ящик»!
Хозяйка дома,
поклонившись низко,
«Сыграйте!» – попросила пианиста.
Он подошёл к роялю неуверенно,
подвинул – тоже старый – венский стул.
Солдаты так затихли, как, наверно,
не замирали даже на посту.
А пианист сидел прямой и бледный,
и руки,
огрубевшие в боях,
вдруг поднялись и с плавностью балетной
тихонько опустились на рояль...
Рояль запел...
Негромко,
старомодно...
И был таким просящим первый звук,
как будто жил рояль сто лет голодный
без этих огрубевших в битвах рук.
Не шелохнувшись,
слушали солдаты,
винтовки почему-то сняв с плеча,
а зал уже гремел «Аппассионатой»,
и мир уже Бетховеном звучал.

А за окном
вставало солнце мая,
и звуки уносились за окно,
и люди все друг друга понимали,
любили и стояли заодно!

НА КАРТИНЕ

Олень,
бегущим в холст врисованный,
томится у лесного озера,
искрит глазами во все стороны
и гневно раздувает ноздри.
Он так упруго напряжён
и так упрямо бьёт ногою,
что я не буду поражён,
коль вдруг он выпрыгнет на волю!
Вот-вот рванётся из холста!
Я так художнику завидую...
И все слова мне неспроста
сегодня кажутся избитыми.
Олень!
Искри глазами масляными
и не давай перу покоя.
Я принимаю вызов мастера,
а не завидую покорно!



ГОЛУБИ,
ГОЛУБИ
1964



БИБЛИОТЕКАРША

Она нам казалась ужасно богатой,
библиотекарша детской колонии,
окружённая греческими богами,
мушкетёрами и ковбоями.

Она приходила до грусти усталая,
на гвоздик пальто своё старое вешала,
смотрела на полки, плотно заставленные,
и улыбалась вежливо.

Она зажигала нас Горьким и Лондоном
и заставляла грустить над Чеховым.
...Она жила в эти годы голодная,
и дети её голодали –
четверо...

Дети, серьёзные не по возрасту,
ждут свою маму с дровами, с продуктами,
ждут каждый день и невесело возятся
в квартире, ветрами войны продутой.

Она ждала, забывая про голод,
ждала и верила безгранично.
И муж вернулся в маленький город.
Вернулся... и встал на камень гранитный!

Она незаметно, но твёрдо боролась,
чтоб стали мы честными,
стали мы добрыми.
А мы ей носили дрова
ворованные...
когда её не было дома.

ГАЛЧОНОК

Уже не помню, кто принёс галчонка.
Он был весёлый, чёрный и крикливый.
Он просыпался летом вместе с солнцем
и начинал кричать: «Пора, пора!»

Он видел всё, что делали мальчишки:
варили раков, бегали в орешник...
А в сорок первом он летел за нами
и возле Курска встретился с войной.

Нам о войне немало говорили,
но в детстве видишь слишком много неба,
считая тучи, даже грозовые,
предвестниками тёплого дождя...

Мы ехали на нескольких подводах –
отличная мишень, куда уж лучше!
В сынах большевиков железа много –
мы были для фашистов как магнит.

Их было два, прерывисто ревущих,
украшенных тяжёлыми крестами,
они спокойно выгружали бомбы
на нас, застывших в выжженной степи.

И наш худой очкастый воспитатель
кричал куда-то в небо: «Здесь же дети!»
(О милый дядька, где ты?) А галчонок
лишь вздрагивал при взрывах и молчал.
Затем взлетел и, глядя на убитых,
зачем-то сделал два неверных круга,
вскричал: «Пора!» – и детство унеслось.

Смотрело солнце. Яркое, большое.
И снова степь жила привычной жизнью.
А нас осталось мало, но железа
удвоилось в мальчишеской крови...

СТАРИК

В сторожке из серых нетёсаных досок,
где ночью и днём табачный туман,
тихонько работает старый философ –
философ, от горя сошедший с ума.

По виду обычный – смущённый и добрый!
Он летом пришёл и прижился в детдоме.
Густеющий клей и весёлые стружки,
в тазу – отсыревшая за ночь лоза...
Все эти корзинки, все эти игрушки
с восходом старик отнесёт на базар.
Он всё променяет – зачем ему деньги? –
на сою и дыни, лепёшки и рис.
Он скажет рассеянно: «Кушайте, дети...»
И что-то бормочет, уставившись вниз.

Он звал нас уверенно Гришей и Петей.
Откуда, откуда безумному знать,
что Гриша и Петя, любимые дети,
погибли на фронте два года назад?
Философ, которому твёрдую почвой
полвека служили запасы ума,
не мог и придумать тот день, когда почта
вручит ему два похоронных письма.
И он побредёт городским тротуаром,
шатаясь, и плача, и бормоча, –
пустынный и праздный, как пепел пожара,
как храм, что оставлен навек без ключа.

...Без гроба, в простую простынку завёрнут,
мальчишка, мой друг и философа «сын»,
землею, оттаявшей в сорок четвёртом,
засыпан... И все это было как сон...

Цветущий урюк, и шиповника зелень,
и глупой кукушки бессмысленный счёт,
и гневный старик, укоряющий землю,
и небо, и солнце, и что-то ещё...

Потом он бродил по казахским аулам,
меняя игрушки на хлеб и ночлег,
и где-то в Тянь-Шане, южнее Джамбула,
сожжённый страданьем, растаял, как снег...

В НОЧНОМ

Я уходил тогда в ночное
и оставался до утра
среди великого покоя
у догоравшего костра.

О чём-то, видно, говорилось,
но мне не помнится, о чём...
И что-то в котелке варилось,
и сам «варился» я в ночном...

И всплески в тишине, и ржанье,
и запах трав, и камыши,
и звёзд холодное дрожанье –
всё падало на дно души...
И уплывала ночь куда-то,
и загорались облака,
и деревенские ребята
мне говорили:
– Ну, пока...

Я был весёлый и разбитый.
И долго слышалось вдали,
как глухо топают копыта
в дорожной вязнущей пыли...

ГЛОТОК ВОДЫ

Глоток воды. В горах или пустыне,
когда полдневный зной под пятьдесят,
когда словами самыми простыми
о самом сложном люди говорят...

Глоток воды. А где-то есть на свете
прозрачные, как воздух, родники, –
там в самый знойный час гуляет ветер
и влажные колышет васильки.

Глоток воды. Но стоит нам напиться –
и сложность мира снова тут как тут,
нам подавай опять любовь и пищу!
И люди плачут, радуются, лгут...

ВОРКУТИНСКИЙ ДНЕВНИК**(Из поэмы)**

Весна. А за Полярным кругом
сегодня звонкая капель.
А через день опять закрутит,
завоет майская метель...

Но люди знают – ненадолго:
чуть с юга ветер повернёт,
и снег сойдет, оставшись только
у Карских ледяных ворот.

Здесь нет красот России средней,
Полярный край суров с лица.
И всё же есть у тундры средство
к себе приковывать сердца.

Там день и ночь на страже солнце,
ржавея, расцветает мох...
А неба синюю бессонницу
я описал бы, если б смог.

Холодногато и беззвёздно,
хрустальной ясности полно,
забыв свой миллионный возраст,
лежит, как девушка, оно...

Весной услышишь, как, подвыпивши,
вздыхают о родных местах,
и о судьбе, на долю выпавшей,
и о несбывшихся мечтах.

А иногда в неясном лепете
я разбирал не без труда:
– Сюда летите, гуси-лебеди,
летите, белые, сюда...

Далекий первый запах осени
донёлся с ветром и погас,
как будто в жаркий полдень бросили
закат, невидимый для глаз...

Но мир в цвету! И что-то чуждое
в случайном запахе сквозит.
А может, это лишь почудилось
и осень вовсе не грозит?

Так в полдень жизни всё надеешься
вскочить упруго поутру
и вдруг, как лист, едва желтеющий,
тихонько вздрогнешь на ветру...

ЖУРАВЛИ

Журавли улетают на юг,
улетают и тают, бродяги,
и вливается в душу мою
перелётное таинство влаги.

Отчего, отчего это так?
А причина, наверно, простая:
то меня окликает вожак,
словно я отстаю от стаи.

Он не знает, что я отвык,
что давно уж я стал оседлым,
будоражит прощальный крик,
точно крылья у нас, а не семьи.

ПРОЗРЕНИЕ

Бывает острое прозрение,
как взрыв в мозгу, что ты – живой!
Что ненависть, любовь, горенье –
в тебе, с тобой и над тобой...

Ты только вскрикни, хлопни дверью
или засмейся просто вдруг –
и тут же ветер и деревья
тебя затянут в общий круг.

В тот милый круг, где всё живое,
где наслаждение и боль,
где правят общею судьбою
горенье, ненависть, любовь...

Мы в общем хоре все – солисты...
И даже тот, кто безголос,
в своём особенном регистре
доносит шёпот свой до звёзд.



НЕБО
1965



ЕЩЁ О ГОЛУБЯХ

Девчонка,
влюблённая в «голубей»,
в бельё,
что сушится на верёвках,
никак не хотела понять,
хоть убей,
за что её называют воровкой.

Она и просила,
и рылась в отбросах,
ничем не боясь запятнаться, –
девочка худенькая,
русоволосая,
родившая сына в шестнадцать.

В детдом не хотела его отдавать –
в те годы и там
не кормили печеньем.
Она,
словно маленькая вдова,
жила на нашем обеспечении.

А мы,
во многом другом искушённые,
в семейных делах разбирались
не очень –
носили его в бельево́й кошёлке,
соблюдая строгую очередь.

В глазах ребёнка не было грусти,
весёлый,
упитанный малый
крепко сжимал ручонками груди
и улыбался маленькой маме.

Так подрастал этот общий сын
среди нас, голодных, не зная голода, –
он видел,
как в небе, холодном и синем,
парят настоящие голуби!

ЛИСТОПАД

1

Ловлю и ловлю отсыревшие листья,
морщинистые,
как старушечьи лица.
Я, осень,
расстаться с тобой не могу!
А ты усмехаешься,
будто я лгу.
Ты снова, как прежде,
кричишь:
«Либо — либо!»
Я, осень, женат,
и какой теперь выбор?
И дождь твой тоскливый,
бросающий в дрожь,
тревожит мне сердце,
но рядышком дочь.
Знакомый, и давний,
и вечно внезапный,
густой,
как настой угасания, запах.
Зачем же ты манишь,
куда же ты манишь?
Меня пообтёрло,
меня не обманешь!

2

А помнишь ли,
осень?
Бродил я по лужам
и листья твои собирал,
как монеты.

В ту пору казалось,
что ближе и лучше,
чем ты,
в этом мире товарища нету.
А город, огромный,
совсем незнакомый,
смотрел на меня,
точно был я обузой.
Бродил я по свету
почти незаконный,
не очень-то сытый,
не слишком обутый.
Среди каблучков,
отчуждённо стучащих,
всё так недоступно,
как будто мираж...
А ночь всё плотнее,
а дождик всё чаще.
И даже машины уходят в гараж!

3

Как много у нас безответных вопросов!
Уходят,
уходят машины в гараж.
А мне,
человеку,
куда же мне,
осень?
Какой ты совет мне сегодня подашь?
Я просто бродяга,
каких теперь мало,
осколок последней
проклятой войны.
Я даже во сне не кричу уже:
«Мама!»

Принёс меня аист из жаркой страны!
Принёс меня аист...
Ну что ж,
я согласен,
и есть что-то птичье в обличье моём!
Взобравшись на тополь,
а может, на ясень,
мы с аистом тихую песню споём:
«Из края, где нет ни зимы, ни печали,
приносим мы людям бездомных детей, —
их дождь обмывает, их вьюга качает,
и осень им рыжую стелет постель».

...Не трожь меня, осень!
Не нужно, не нужно.
Я чашу бездомника выпил сполна.
Как ценят весну после месяцев вьюжных,
Так нынче мне вера и дружба нужна.

Мы быстро забываем и хороним
под мишурой улыбочек и слов
и лишь случайно в памяти затронем
далёкую и первую любовь –

оркестра неустойчивые звуки,
осенних листьев сыроватый прах
и тонкие,
в чернилах школьных
руки,
и детскую улыбку на губах.

В себя и от себя годами прячешь
случайный запах,
чёрточки,
слова,
а если и нахлынет,
не заплачешь,
и только разболится голова.

БАЯНИСТ

Я музыкант. Не очень настоящий.
Я баянист, короче говоря.
Таскаю на плечах фанерный ящик,
и провожает спать меня заря.

Меня зовут на свадьбы и гулянки
не в те дома, где шпроты и коньяк,
а в те, где без наклеек полубанки,
где мало слёз, хотя немало драк.

Я должен пить, и оставаться трезвым,
и так давать по просьбе гопака,
чтоб дом дрожал от топота и треска
весь – от фундамента до потолка.

Я, поп без церкви, вижу острым взглядом,
кто с кем гуляет, кто и сколько пьёт...
Да что! Мне сам заведующий складом
наедине ладошку подаёт...



ИСПЫТАНИЕ

1967



Всё сказано, и всё-таки скажу –
я для тебя ничуть не подхожу.

Так не подходят солнцу облака,
пустыне – полноводная река.
Я редко прав, а ты всегда права,
как эта полусонная трава.

Во мне и надо мной всегда зенит –
не солнце, а лицо твоё звенит...
И если мне не спится по ночам,
я не бегу за помощью к врачам, –

лишь ты моё спасение в ночи,
а значит, хоть кричи, хоть не кричи...
Я главное забыл, я не сказал,
что ты – экспресс, а я – ночной вокзал.

Ладони семафоров так легки!
И вскинуты к глазницам кулаки...

Лиде

Ты не приходишь в сад отцветший,
где я тебя ночами жду,
и только вздрагивают ветви
в оставленном тобой саду.

А тишина стоит такая,
как будто всё уже прошло.
Высокая и золотая,
звезда струит своё тепло.

Когда была б она падучей,
необходимой, как и ты,
звезду бы опрокинул случай
на эту землю с высоты.

...Спокойно спи. В твою квартиру
случайность не придёт с бедой.
Любой из нас иному миру
падучей кажется звездой.

ЛИДЕ

Говорят, что не очень-то просто
чувства жёнам в стихах открывать...
Мол, жена – это скучная проза,
это стирки, скандалы, кровать.

Чудо-женщина в чудо-одеждах
и нездешнее что-то в глазах –
вот такую бы встретить однажды
и в подруги, безгрешную, взять!

Почему же красу незнакомок,
всю туманность и призрачность их
ты, жена, забрала незаконно
и вошла неприкрашенно в стих?!

Без обманов вошла, без туманов –
жить, любить и стирать бельё,
поэтичней царицы Тамары
и нежнее, нужнее её!

Откуда этот цвет у неба?
Откуда запах у травы?
Откуда вкус ржаного хлеба?
Откуда я, откуда вы?

В простой травинке изумрудной
мы видим синтез сотен тел...
Природой умиляться трудно
в наш век сухих и строгих дел.

Предметы быта и ракеты
висят на нас, как чешуя,
и мы всё дальше, как ни сетуй,
от первородства бытия...

АВГУСТ
(Из поэмы)

Рассвет в горах. Далёкий праздник!
За перевалом гул воды.
Как долго в памяти не гаснет
мерцанье утренней звезды!
Горька сурепка, сладок корень,
и солонь солончаки...
А я стою на косогоре
и вдаль гляжу из-под руки.
Отара катится на ветер,
и я вослед за ней иду,
как будто я один на свете
у всей природы на виду.
Живу и в ус себе не дую,
а в час вечерний, под закат,
костёр весёлый разведу я
из курая и кизяка.
Откину полог старой юрты,
пропахшей сыром и кошмой,
и кану в сон, чтоб ранним утром
тряхнуть беспечной головой...

Мой август! Лунами твоими
я налюбуюсь наконец?
Густейший, августейший – имя
подходит: ты всему венец.
Твоей росой промыты косы
той, что укрыта пиджаком,
я с лаской девочки раскосой
благодаря тебе знаком.
Арбузом пахнущие губы,
что так тревожны и смелы,

ладони, что в работе грубы,
а вокруг шеи так теплы!
Когда уснут, бывало, братья
(ребята спали – дай им Бог!),
едва услышав шорох платья,
я ускользаю за порог...
Сады и тёмные затоны,
кувшинок белые ладьи...
Как только август, так ладони
на шее чувствую твои!

Не знаю, чем за эту радость
я заплатить судьбе смогу:
за отдыхающее стадо
на пожелтевшем берегу;
за желтизну стерни, и дальних
хребтов Тянь-Шаня белизну;
и тополей пирамидальных
полуденную тишину;
за августовский запах яблок
и полусонной речки речь;
за милый шёпот: – Я озябла...
И за пиджак, упавший с плеч...

ОСЕННИЕ СТИХИ**1**

Об осени писать – какой наглец?!
О ней не раз великие писали...
Но как же быть, когда соседний лес
опять, опять в безлиственной печали?
Как не писать, когда в сухой стерне
старинный горьковатый запах грусти,
а в блёклой, отпылавшей вышине
всё тот же плач несут над нами гуси?
И будет так за окнами темно!
Случайный, а быть может, не случайный,
ворвётся ветхий лист в моё окно,
хрустящий, как пергамент, полный тайны...
И я бегу из дома!
И до слёз
всё так необъяснимо и так близко...
То листья поднимаются до звёзд,
то звёзды опускаются на листья...

2

Кружитесь, листья, падайте на грудь,
ложитесь мне на голову и плечи!
И пусть ваш золотой и краткий путь
с путём пересечётся человечим.
Какая между нами в мире связь?
Какие у нас общие законы?
И с горечью я провожаю вас,
как будто бы в последний путь знакомых...
Ну что ж, прощайте, листья! Не беда.
Весной из вас взойдут густые травы.
Я в людях не исчезну без следа –
и в этом мы похожи, в этом правы...

ПАРК ГОРЬКОГО (Из поэмы)

Памяти Александра Маслова

Над парком, над весеннею землёй
в чернильных окоёмах мироздания
сияют чьи-то судьбы надо мной, –
благодарю тебя за опоздание!
Ты не пришла, но если ты придешь,
то ворохом случайных отговорок
прикроешь охлаждение и ложь,
и он меня засыплет, этот ворох.
Неслышная, течёт Москва-река.
Прохладные, подстрижены газоны.
Твой дом – напротив, как ты далека,
и как теперь бессмысленны резоны...
Ну что ж, пригублю горечи глоток,
за ним ещё один, привычки ради,
покуда человеческий поток
прибьёт и прикует меня к ограде.
Парк Горького. Открытая эстрада.
Стою, вцепившись пальцами в ограду.
Ещё вчера играл здесь духовой
слащавые заигранные вальсы, –
чей дух парит сегодня над Москвой,
все эти судьбы в чьей сегодня власти?
Симфония Бетховена. Ряды,
забитые народом до отказа.
Вступление – предчувствие беды,
его судьбы трагическая фраза...
Измены, глухота, но не жалейте –
он жалость презирал, и потому
не по нему сегодня плачут флейты
и весь оркестр скорбит не по нему.

О чём скорбите, флейты и фаготы?
О судьбах на земле и в небесах?
О друге, что ушёл от нас на днях,
эскизов и стихов недоработав?
...Ты помнишь, был ночник, и были тени,
и дикторша бубнила про судьбу?
А «Лунная» входила по ступеням
в пригорбленную временем избу.
Входила корочанской летней ночью,
неся тревожный запах маттиол.
Мы пили за Коромпу и Корочу,
и лунные лучи ласкали стол.
Коромпа и Короча схожи в чём-то,
какая между ними в мире связь?
Вдруг ты сказал:
«А знаешь, тут девчонка
весною на лугу подорвалась...»
Да, странно воспрятье красоты
и никакой молвой необъяснимо.
Все связано: Бетховен, я и ты,
и «Лунная» с замедленною миной...
И тут же, за деревней, речка Корень
и запахи лягушачьей икры...
Никто не предсказал тебе, что вскоре
и ты навеки выйдешь из игры.
Желтеют и коробятся листья,
не выпадет роса перед рассветом.
И раки, что не выловлены летом,
навек голубоваты и чисты.

Когда друзья тоскуют о своём,
так просто отмахнуться: дескать, ладно...
Боль их души и меру их таланта
мы слишком запоздало узнаём.
Я странную догадкою напуган:

ты был для нас соперник, а не друг,
но вот замкнул ты притязаний круг,
и в тот же миг ты стал всеобщим другом!
Соперник-друг. Ни нынче и ни завтра
не слушать нам Бетховена с тобой.
Я эту скорбь, пришедшую внезапно,
Навек соединю с твоей судьбой...

Парк Горького. Открытая эстрада.
Стою, вцепившись пальцами в ограду..
Печаль прошла. По взмаху дирижёра
на весь вечерний парк, на целый мир
обрушилась громадина мажора
и овладела небом и людьми.
В наполненную торжеством минуту
мне память принесла из глубины
зарницы самодельного салюта
в день окончанья мировой войны.
Он был совсем не ярок и не громок:
нестройный залп десятка «пугачей»
послала в небо гвардия детдома,
но я торжеств не помню горячей...

Парк Горькою. Открытая эстрада.
Стою, вцепившись пальцами в ограду..



ОСЕННИЕ
КОСТРЫ
1969



ИЗ ЦЕЛИННОГО ДНЕВНИКА

Луна, клювастая, как беркут,
парит над степью.
Тишина.
Но на востоке звёзды меркнут
и всё смелей голубизна.

Теперь и степь совсем иная –
до горизонта белый свет!
Куда нас выведет, петляя,
чуть видимый тропинки след?

Внизу, подёрнуто туманом,
лежало озеро...
Оно,
всё камышом окружено,
казалось миражом, обманом...

На дне ключи — и дрожь в поджилках,
но так и тянет нас туда,
где белоснежные кувшинки
качает сонная вода...

Ворвётся ветер к нам с полей,
морозцем первым прокалённый,
и разметает крону клёнов,
листву берёз и тополей.

Сметают дворники листву,
а у обочин тротуаров
десятки маленьких пожаров
сквозят и рвутся в синеву.

И эти запахи остры...
На них гурьбой приходят дети
и, забыв про всё на свете,
сидят и жгут свои костры.

А мы-то, взрослые, а мы,
печалью схвачены минутной,
едва осознанной и смутной,
глядим на них из полутьмы...

Сойти на станции чужой,
добраться до лесной сторожки
и там с оттаявшей душой
ходить по ягоды с лукошком.

И в озере, что камышом
позаросло, позеленело,
купаться в полдень нагишом
и не иметь важнее дела.

И спать на сене, и легко
вставать с зарею, чуть продрогши,
и раз в неделю с лесником
в район проехаться на дрожках.

А напоследок дней сухих,
бродя и бредя листопадом,
писать об осени стихи,
стихи те самые, что надо...

ОСЕННИЕ КОСТРЫ

Приятно в эту пору
вытаптывать росу,
я собираю хворост
за городом в лесу.

И ноги в листьях тонут,
куда ни наступи,
впиваются в ладони
шиповника шипы.

Костер всё ближе, ближе,
в нём что-то от игры, –
и вот уже я вижу
давнишние костры...

От холода, от голода
спасавшие меня, –
сквозь детство и сквозь молодость
прошла игра огня...

Костёр из довоенной
картофельной ботвы
дымит себе средь верной
детдомовской братвы.

Чабанский, азиатский
стреляет саксаул, –
в ущелье холод адский
и водопада гул.

Поют костры целинные,
гитарят через край...
В озёрах дремлют лилии,
трещит степной курай.

А вот и белгородские
у выбеленных круч:
гитара стала взрослою,
а вкус вина горяч...

Как много тех, с которыми
я жёг свои костры,
ушли в иные стороны –
в последние миры...

Подул ли ветер с севера,
но с некоторых пор
летит листва осенняя
в последний мой костёр...

Так небо пасмурно, и так вокруг темно,
что ни к чему не чувствуешь доверья,
всю ночь скребутся в мокрое окно
корявые и чёрные деревья.

Но лишь три дня, три дня тому назад
за этим вот окном, над этим лесом
кружился и светился листопад,
и это называлось бабьим летом.

И пахло листьями и выжженной стернёй,
и сыростью грибной несло в низине,
и лист кленовый, жёлтый и резной,
запутавшись, качался в паутине.

Но скоро-скоро, может быть, вот-вот
вскружатся галки, и снежок капризный
пойдёт, пойдёт — и сердце отойдёт
в предчувствии морозной, чистой жизни...

ЯНТАРЬ

Осенний лес как слепок янтаря,
безветренно, безоблачно, безгласно,
бреди себе, судьбу благодаря
за призрачность полуденного часа.

Так безмятежно, так светло в лесу,
что, от своих печалей отрешённый,
я признаю деревьев этих суд
и запах этих трав полусожжённых.

Прозрачны небеса и зеленыя,
и даже человеческие души,
вчера ещё чужие для меня,
я сквозь янтарь провидел и прослушал...

Я заблудился, как в лесу..
На белый свет, на главный праздник
спешу, спешу
и колешу
среди стволов однообразных.

Но вот мне чудится вдали
полоска узенькая света,
и ветряки, и ковыли,
и пыль, и зной, и запах лета...

Бреду, качаясь меж стволов,
на свет, что раньше был неведом,
на ту последнюю любовь,
что рождена бедой и бредом...

Ещё немножечко, чуть-чуть,
уж ветер хлещет по верхушкам!
И вдруг – конец, окончен путь:
опушка – чёрт возьми! – опушка...

Вокруг меня всё тот же лес,
куда ни кинься, одинаков,
пропало солнце,
день исчез,
мир полон тайных звёздных знаков...

О, вечный дух противоречья!
Невыразимо странный дух,
что человек себе на плечи
с рожденья взваливает вдруг.

В том духе... только в нём, быть может,
сокрыта тайна бытия, –
и век, и день, что нынче прожит,
и раздвоённость наших «я»...

В нём, в этом духе, столкновенье
души и логики, и в нём
живут ночные озаренья,
не возникающие днём.

И потому раздумий горьких
глушить снотворным не спеши.
Да озарят они задворки
твоей судьбы, твоей души.

СУШНЯК

Охапку сучьев и соломы,
что были собраны к костру,
внезапный дождь сечёт и ломит,
раскидывая на ветру.

А как горел бы он! А как бы...
Несостоявшийся костёр,
он дал бы пламя в две охапки
и долго б теплился с тех пор.

...То я, угрюм и бессловесен, –
сушняк, заждавшийся огня,
слова осенних тихих песен
опять покинули меня.

Стихия... Что ты с ней – стихия.
Дождь не беда, страшней мороз,
когда дрова, на вид сухие,
дымят, дымят себе до слёз.

Пока на свете бабье лето,
чуть солнце – высохнут дрова
и, назревающие где-то,
на волю вырвутся слова.

ВЕСНОЙ

Предчувствие весны...
Оно жило,
когда снега последние синели,
когда синели первые капли
и солнце на проталины легло.

Предчувствие весны.
Оно пришло
с бессонницей едва набухших почек, –
весна свой отработывала почерк
в черновиках, чтоб грянуть набело.

И грянула!
Да так, точно впервые:
И светел свет,
и зелена трава,
и первородны старые слова,
и сам ты чист, как кручи меловые.

Расчертят мелом узкий тротуар
хозяйки милых тоненьких косичек
и, щебеча и прыгая по-птичьи,
напомнят, что и ты не так уж стар.

И мартовский, с проталинами, снег,
и голубой, как детский сон, подснежник,
ручей, что ночью – трагик,
днём – насмешник, –
всё наяву, не в шутку, не во сне!

Весна – кумир!
И почки тополей
раскроются, как губы в час свиданья.
Вода сойдёт, оставив на прощанье
щемящий запах горечи с полей...

Склоняют все:

«Весна, весне, весной...»

Веснушками одаренные лица...

Покайся, грешник: властны над тобой
давно уже запретные ресницы...

А за городом залиты луга!

И глаз не оторвать от половодья.

И сам ты отпусти души поводья,
пусть раз в году размочит берега...

«КУРИНЫЙ БОГ»

Уснули в санаториях больные,
храпят на раскладушках «дикари»...
Лишь мы с тобой, лунатики шальные,
считаем маяки с Медведь-горы.

Мы делим папиросы, делим звёзды,
поддерживаем слабый костерок.
Кто знает, не прибьётся ли к нам поздний
какой-нибудь приبلудный катерок...

Надежды слишком мало – ну так что же!
Давай не будем думать, что да как, –
со стороны мы всё-таки похожи
на золотой мигающий маяк.

Приди, приبلудный!
Есть у нас в запасе
массандровское белое вино,
гитара с серебристым мягким басом,
да в памяти стихов припасено.

Но это всё, конечно, между прочим...
К рассвету, когда сон земли глубок,
на самом переломе дня и ночи
нас ждёт на берегу «Куриный бог».

Тот камешек, что дарит людям счастье,
капризно отшлифованный волной,
когда-то над «Куриным» был я властен,
теперь «Куриный» властен надо мной...

Что я увижу в жалкое отверстие?
Кружочек горизонта, луч звезды?
«Куриный»! Твой подарок честь по чести,
да только уж спасибо за труды...

Оставь его для верящих...
А мне бы
оставил ты гитару, да вино,
да друга, да костёр у кромки неба
на случай, если море нам дано...

АРТЕК

И детство промчалось,
и юность, как снег,
растаяла...
Спущены сходни,
и вот уже гость твой,
я гость твой, Артек,
непрошенный гость твой и поздний.

Так вот они где, золотые костры,
призывные пёсны горнистов!
Солёный прибой у Медвежьей горы
горласт, как пацан, и неистов.

Как всё-таки жаль мне,
как всё-таки жаль!
Не знал я костров пионерских...
То песни другие,
то дальняя даль,
а то и зажёт бы, да не с кем.

Гори, моя юность, и, детство, гори,
за них и за тех, кто со мною
увидеть не смог этой славной горы
и этого славного моря...

МОРЕ

Морская зыбь глядит издалека,
из пахнущей каштанами Одессы.
На слух и взгляд – забытая строка,
которую припомнить не надейся.

Но что-то есть, но что-то прижилось,
но что-то наплывает временами:
портовый запах, винограда гроздь
и чей-то голос, может, голос мамы...

Всё это море – плеск его и блеск,
и общий дух, причальный и прощальный,
и чьё-то возвратится обещанье,
но море без него вернётся, без...

И вот опять как будто бы оно,
то море, те же грозди винограда,
и запахи, и звуки где-то рядом,
но нет лица, как в стёршемся кино...

ТАВРИДА

В тени замолкнувших развалин –
каменной и треснувших колонн –
я робок и сентиментален,
я изумлён и покорён...

И я брожу, а шум прибоя,
свидетель царств и городов,
всё манит, манит за собою,
и я бежать за ним готов,

чтоб увидеть иные лица
и услышать иную речь...
Вы что трепещете, ресницы,
туника, что спадаешь с плеч?

Ты кто, виденье? Полководец,
гончарный мастер ли, пастух?
И отчего тревожит воды
неумирающий твой дух?..

Открой мне связей наших сущность!
В ответ – лишь амфор синий звон
и полновесность, полнозвучность
далёких греческих имен...

Прощай, золотая жар-птица!
Теперь уж прощай навсегда.
Вечернее солнце садится,
ночная восходит звезда.

Прозрачное иносказание, –
откуда жар-птицы в наш век?
Казалось, мне только казалось...
Ну что же, прощай, человек.

Как волн угасающих пена
становится просто водой,
осыпались яркие перья
и стали вечерней звездой.

Жар-птиц не бывает на свете,
и всё же мне снится, что ты
кому-то по-прежнему светишь
с туманной своей высоты...



АВГУСТ

1973



В старинной бухте у причала
Дряхлеют лодки на мели,
и половецкою печалью
ночные пахнут ковыли.

Здесь, на краю ковыльной степи,
старинный высится курган
и, вороша кизячный пепел,
поёт задумчивый чабан.

Сожжённый солнцем и ветрами,
который год,
который век
он здесь колдует над кострами,
бессмертный этот человек?!

У Графской пристани зелёная вода
и доски порыжелого настила.
Как долго ты вела меня сюда,
судьбы моей загадочная сила!

Куда идти и что мне здесь смотреть?!
Здесь всё едино – бухты и курганы,
здесь намертво слились вода и твердь,
здесь мальчики с рожденья капитаны...

По Северной блуждаю стороне,
смакую виноград на Корабельной, —
в душе, как в экзотической стране,
так солнечно, так празднично, так цельно!

...Промчались дни. Но, кажется, вчера
швырял я в море медную монету
и серые на рейде крейсера
несли сторожевую эстафету...

Глухая тишина легла на Карадаг,
дубовые леса в полночной дрёме.
В далёком далеке мигающий маяк,
а может быть, ночник в тревожном доме...

Такая темнота!
Такая тишина!
Как будто в эту ночь и слеп, и глух ты, –
постой, пока из моря выплывет луна,
и ты увидишь призрачные бухты.
А то, чего нельзя понять издалека,
ты мысленно представишь и дополнишь:
испанский дрок, и скал гранёные бока,
и тени облаков, причудливые в полночь...

И вспомнишь, как на осыпях крутых
слепяще расцветали ветви дрока,
как море с небом – ровно на двоих –
делили землю где-то там, далёко...
И как после заката в высоте
сошлись созвездья, словно на параде,
и чуть шумело море в темноте,
и чуть шуршал песок, нагретый за день.

Луна бледней, бледней...
И груды облаков
сияют, точно росписи в соборе.
Проснулся Карадаг, и видно далеко.
И от зари вот-вот зажжётся море...

Пастух играет на свирели,
как тыщу лет тому назад,
струится речка, дремлют ели,
стога от марева дрожат.

От беспредельной этой сини
глаза уставшие смежу
и посреди степной России
усну, как голову сложу...

И буду спать, пока разбудят,
и буду знать наверняка,
что эта степь была, и будет,
и пусть пребудет на века!

Внезапно попадѣшься на крючок,
сойдя на незнакомом полустанке
купить редиски розовый пучок
у девочки в потѣртом полушалке.

И вспомнишь, как свистят перепела
да в хвою зарываются маслята, –
не в этом ли бору тебя ждала
такая же девчоночка когда-то?

Нет, бор не тот...

И девочка не та...

Но ты, вцепившись в поручни вагона,
глядишь назад, куда хотя черта
останется за гранью перегона...

Дома уснувшие и спящие в домах –
вы так сейчас доверчивы и странны.
Что грезится вам в полуночных снах,
какие превращения и страны?
И что теперь – зима иль майский сад –
живёт в сторожевых каналах мозга?..
У вас собака есть?
Спустите пса...
Пусть погуляет, ночью это можно...
Пускай опять в густом туманном мраке,
хозяйскому приказу вопреки,
за нами бегают свободные собаки,
по лужам шлёная и делая круги!

ЗВЁЗДЫ

Когда затихнет мир и все уснут,
я выхожу на цыпочках из дома
смотреть на звёзды...

Я стою сторожко,
чтоб не подняли вой, меня услышав,
цепные деревенские собаки.

Легко испортить эту тишину,
и я, задравши голову высоко,
как дерево стою и даже тише;
меня не шелохнёт случайный ветер
и запоздалый путник не надломит.

И все мои надежды, все желанья
теснятся в голове весенней ночью.
Запахнет ли сиренью – это звёзды...
Услышу звуки древней русской песни
иль пенье соловья – всё это звёзды...
И мне совсем не скучно среди тысяч
мерцающих, манящих и падучих
весенних звёзд...

И я могу свободно
придумывать, что звёзды – это люди
и что они глядят сюда, на землю,
где каждый человек для них – звезда...

Когда я в спящий дом свой возвращаюсь,
моя жена, усталая планета,
привычно пробормочет: «Полуночник...
Что пользы без конца смотреть на звёзды?»
Я улыбнусь во тьме и промолчу...

НОЧНЫЕ ГОРОДА

Ночные города – моя беда...
Так просто потерять покой и веру,
когда всё спит, всё немощно когда,
а ты один мотаешься по скверу.

Лишь ветер пробежится по листе,
да по трамвайным рельсам что-то звякнет,
а то в твоей бессонной голове
сладчайшим бредом вспыхнет и иссякнет...

Да ветер ли?
И кажется тебе,
что нет, не ветер, что-то там иное,
причастное ко всей людской судьбе,
витийствует, витая над тобою...

Оно, наверно, ждет, что я усну.
Я не усну, я слишком старый сторож,
пересидевший не одну луну
в многоэтажных каменных просторах.

Я не за плату –
плата мне не впрок,
я не за славу –
спят владельцы славы,
покуда мир плетёт себе венок,
я должен охранять цветы и травы.

НОЧНОЙ АЭРОДРОМ

Ночная тишина аэродрома,
акации полуночная дрёма...

Затихшие до времени винты
присели отдохнуть от высоты.

Что снится вам, дюралевые птицы?
Акации ли белые ресницы?

А может, огоньки туманных звёзд,
готовые пронзить ваш сонный хвост...

...Два неба, две природы, две земли
мой мозг, как мост, навечно развели...

Я там и тут, и в этом вся беда.
Прости и приюти меня, звезда...

Двадцатый век. Двадцатый в мире путь.
Опять мне от раздумий не уснуть...

ИЗ СТИХОВ «О ГЛАВНОМ»

Я каждый раз испытываю страх
перед пустым листом бумаги...
О Муза! Одари меня отвагой
и помоги мне сделать первый шаг!
Пусть будет слабой первая строка,
а смысл её корявым и не новым, –
я отыщу единственное слово,
минута вдохновения близка...

1*В.Е.*

О главном...
О тебе, далёкий друг,
о чистоте твоих лабораторий...
Какие там у вас ведутся споры?
И как ведутся, прямо иль вокруг?
Я знаю про Медео, про коньки,
про то, что перечитан весь Джек Лондон
и что поэтов любишь ты немодных,
которые легки, да глубоки...
Ну что же, я согласен... И потом
важней, что мы сошлись с тобою в главном:
что оба себя чувствуем неладно
перед ещё не начатым листом...
И даже на Медео, даже там,
когда коньками чертишь ты узоры,
каток – лишь идеальный лист, который
готовится к великим чертежам...
А помнишь полусонные Фили?
Нас четверо, и мы с тобой на вёслах...
И плечи тех девчонок полувзрослых,
и марево, дрожащее вдали?
...Ну а пока привет Алма-Ате!

Когда в предгорьях высыплют тюльпаны,
ты мне пришли привет из Казахстана
на белом незачерченном листе...

2

А.М.

О главном...

Вы, осенние леса,

спасите от неожиданного недуга:

всё в памяти лицо и голос друга,

далекий голос, давние глаза...

И даже стылый дождь стучит мне в душу,

стучит, напоминая без конца,

как мы весною ранней у Донца

с ушедшим другом слушали лягушек...

Остались не заполнены листы,

им тосковать по песням недопетым,

а раки, что не выловлены летом,

навек голубоваты и чисты...

Я жалуюсь пустеющим дубам,

чьи жёлуди срываются, как слёзы,

я спрашиваю что-то у берёзы,

клонящейся к утерянным листам.

Ты понял, лес?

И я тебя пойму...

Давай взамен прощального салюта

замрём и помолчим с тобой минуту

по листьям и по другу моему...

...Я каждый раз испытываю страх

перед пустым листом бумаги...

О Муза! Одари меня отвагой

и помоги мне сделать первый шаг...

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

...Как раз мы были заняты едой,
когда, ушастый, рыжий и худой,
влетел дежурный, крикнул:

– Пацаны!

Конец войны!

Эй вы, конец войны!

И всё смешалось, грянуло «Ура!»,
и эхо докатилось до двора.

Из кухни воспитатель:

– Вы чего?

Мы, хохоча, глядели на него...

Мы в эти годы грезили едой...

Швыряли миски с тыквенной бурдой!

Горбушки по карманам – и айда

куда-нибудь на улицу,

туда,

на снеговой Тянь-Шань,

на белый свет,

где нет войны,

где смерти больше нет!

Ревела Чу в булыжных берегах,
саманные домишки и бараки
вывешивали праздничные флаги
и бредили на разных языках:

на русском,

на казахском,

на иных

наречиях Советского Союза...

Да что язык – он стал почти обузой,

Победа породила свой язык –
тот самый, что важней и ярче слов:
язык улыбок,
слёз,
внезапных жестов...
Вон пастушонок растерял коров,
А вон марджа¹ сияет, как невеста!
Седой солдат, безногий инвалид,
детдомовцам суёт буханку хлеба,
он плачет и смеётся (жуткий вид!),
и, забывая, что и где болит,
он костылями салютует в небо!

Не площадь...
Не перрон...
Сплошной базар!
Чалмы,
чубы,
фуражки,
тюбетейки...
Вон укротитель с пляшущей змейкой,
а вон канатоходец из Джунгар!

Сияло солнце в этот майских день,
цвела в садах дунганская сирень,
роняли пух на землю тополя,
и пела и звенела вся земля!

¹Марджа – бабушка (казахск.)

ГРАНИ

1979



БЕССОННИЦА

Что так гнетёт в часы бессонниц?
Неужто в мареве ночей
нам не даёт покоя совесть
из-за житейских мелочей?
Не оказал услугу другу,
но подал руку подлецу:
«Что делать, жизнь идёт по кругу,
а мы блуждаем по кольцу...»

Ночная совесть – не награда,
и ты мычишь на белый свет:
«От слишком пристального взгляда
себе и ближним проку нет.
Не голубиный, а глубинный,
он не несёт в себе добра
ни тем, кто вылеплен из глины,
ни тем, кто сделан из ребра...»

Всё это дух противоречья!
Непостижимо странный дух,
что человек себе на плечи
с рожденья взваливает вдруг.
В нём... да, и только в нём, быть может,
сокрыта тайна бытия:
и день, и век, что будет прожит
в раздвоенности наших «я».
И в этом духе столкновенья
души и логики, и в нём
живут ночные озаренья,
не возникающие днём.

И потому раздумий горьких
глушить снотворным не спеши:
да озарят они задворки
твоей судьбы, твоей души!

Когда от пыли и от зноя
уйдёт на отдых летний день,
земли дыхание ночное
разбудит сонную сирень.
И что-то в мире сотворится,
как бы родясь из темноты,
чтоб наши помыслы и лица
освободить от суеты.
Чтоб отменить права разлуки
и чтоб воззвать из глубины
то, для чего даны нам руки,
глаза и губы нам даны...

И снова этот запах
желтеющей травы,
и жёлтый лист в каплях
осенней синевы.

Любви и всепрощенья
полна душа моя –
о, это ощущение
почти небытия!

Я в крике журавлином
родной услышал крик, –
бегу сквозь паутину,
сквозь листья – напрямик.

И не стыжусь внезапно
почуять на щеке
начало слёз, и запах,
и вкус на языке...

Пусты поля, и голы огороды,
смирение акаций и берёз.
Попробуй вопреки игре природы
не слишком принимать себя всерьёз.
Заставь себя уснуть, угомониться,
притормози свой разум до весны –
живи душой, как дерево, как птица,
придумывай и верь в цветные сны...

Неотвратимо! Выше, глубже, шире
рассудок проникает в бытие –
найти ещё не найденное в мире,
найти и дать название своё!
И лишь в минуты переутомленья
во искупленье вечного труда
рождают в нас восторг и умиление
сирень и предрасветная звезда...

Выбегаю к первому трамваю,
гроздь сирени к горлу прижимаю,
говорю: «Привет! Салют! Салям!»
Всё на этом свете принимаю,
только ничего не понимаю:
то ли тополя плывут по маю,
то ли май плывёт по тополям...

ДЕВЧОНКА

Она стояла, в зеркало смотрясь,
она – прикосновением и взглядом –
искала ту единственную связь
между собою и своим нарядом.
Нашла! И я увидел, как она,
кому-то подражая, может, маме,
по городу вечернему одна
впервые простучала каблучками.
Как плащ шуршал!
Как гребень в волосах
поддерживал летучую причёску!
И полудетский,
тайный,
сладкий страх
вital вокруг неё по перекрёстку..
И были так чисты её черты,
так трогательно всё в её расцвете, –
и эта неподсудность красоты
по городу раскидывала сети...

МАРТОВСКАЯ ПОЭМА

Ты мне снишься.
Ты манишь...
Понять и постичь не могу:
для чего мне тянуть из колоды
давно уже битую карту?..
На последнем, на мартовском
на почерневшем снегу
отыскал я следы
к молодому московскому марту.
Среди ночи, спросонок,
по лужам, покрытым ледком,
я лечу напрямик
через вымерший город
к вокзалу..
— Поскорее билет!
— Вам куда?
— Мне... туда... далеко...
— Э-э, да он сумасшедший,—
тихонько кассирша сказала.

И вот за окнами вагона
гудят и стонут провода,
а там, за гранью перегона,
сквозит Полярная звезда.
Над потемневшими снегами,
над предрассветной тишиной
она, как мост меж берегами,
соединит тебя со мной.
В купе шумят, играют в карты,
звенят стаканы за спиной —
влекомый мартом, мчит с азартом
купе, вагон, весь шар земной...

Когда на Чистые пруды
упал последний зимний холод
и лёд с наплывами воды
был конькобежцами расколот,
когда земля и тополя
дышали влагой предвесенней,
всему дожившему суля
начало снов и потрясений,
когда, «норвежками» звеня,
в пушистом свитере, в берете,
ты налетела на меня,
раскинув руки, словно сети,
и закричала мне: – Замри! –
и я, как в детстве, взял и замер, –
вдруг замигали фонари
потусторонними глазами...

– Подъезжаем к Москве, –
говорит, проходя, проводник.
Репродуктор хрипит
довоенную песню столицы.
Приезжал.
Уезжал...
Да, видать, не отвык,
не отвык...
Подмосковные сосны
вековые смежают ресницы.

Пустынны дачи подмосковные,
деревья в мартовском снегу,
такие давние да кровные,
что я бегу, но не сбегу

от этих сосен, этих ясеней
с их первобытной чистотой
перед Тверским,
Садовой,
Красина
и всей московской суетой.
Сюда из южных стран апрелями
летят весёлые грачи,
и грезят соснами да елями
в столичном шуме москвичи.
Уж понаедут!
А пока ещё
живёт на даче брат-студент,
пусть не о том уже мечтающий,
пусть помоднее нас одет.
И всё же брат во-хрестоматии,
во-сопроматии наш брат!
Прощайте, дачи альма-матери, –
зовут Донская и Арбат...

В институтские окна
врывается ветер шальной,
что-то ищет в душе...
и, конечно, находит, находит!
За окном зеленеет и пахнет весной,
и доносятся снизу обрывки мелодий.
На мгновенье привстанешь –
и выхватит взгляд
мяч, взлетевший над сеткой,
и солнце на трубах оркестра, –
а вдали, у причала,
весенние платья пестрят...
У тебя – «сопромат»,
у тебя – окончанье семестра.

Будь что будет!
Скорее туда, на дощатый причал!
Там густеет толпа
в ожиданье речного трамвая.
Сколько раз удирал
и тебя у причала встречал, –
и фиалками пахла
в «Нескучном» трава молодая...

Я возвращался, усталый и лёгкий,
встречая рассветы на Крымском мосту.
Три года я мерил совсем недалекий
путь через всю Москву.
И чудилось мне, что деревья и зданья
спускаются к набережным по ночам,
и я назначал тротуарам свиданья,
я звёздам свидания назначал..
Я клялся своей полусонной вахтёрше:
– Простите..
В последний,
в последний раз!..
Она усмехнулась:
– Чай, дальше-то горше.
Потом говорила:
– Сиди-ка, я сейчас..
Она приносила тарелочку супа.
– Гляди, тяжело без стипендии.
Зря..
Но снилась мне ты
и слепящий купол
Донского монастыря!..

Отыскал я Донскую.
Трамвай с неё сняли давно.

Отыскал я твой дом,
обнесённый чугунной оградой.
Так мертво и темно,
как глазница слепого,
окно.

Лишь свеченье деревьев
в глубине монастырского сада.
Отпустил я решётку
и пошёл, озираясь, как вор,
на невидимый купол,
на дом злополучный...
Вот мой Горный!
За ним, как и прежде,
дырявый забор,
и аллеи Центрального парка,
и сад по прозванию «Нескучный».
Карусель.

«Поплавок».
Павильоны, театры, ларьки...
А вон в том
голубом, словно мартовский лед,
павильоне проката,
поправляя шнурки
и тебе надевая коньки,
я стоял пред тобой на коленях,
как сам де Грие
перед дамою сердца когда-то!..

Ты мне снишься...

ДОМ ВОЛОШИНА

Пока живём, отбрасываем тени.
Когда уйдём, сокроемся в тени.
Старинный дом. Скрипучие ступени.
Приди и тихо голову склони.
Хозяин дома, он же и хозяин
забытых акварелей и стихов,
давно ушёл... но кое-что мы знаем
из области чудачеств и грехов.
Он, говорят, на южном солнце греясь,
лежал себе, простите, без штанов, –
короче, был чудак, эпикуреец,
сторонник древнегреческих основ.
Воздельывал свой сад с горячим потом,
ведя свой счёт находок и потерь.
Впускал и окружал своей заботой
любого, кто стучался в эту дверь.

Париж эстетов... Смирны пряный запах...
Созвездия и ящери в траве.
Надежда совместить восток и запад
в своей большой и доброй голове...

Так что же – золотая середина?
Союз души и плоти наконец
перо и кисть спаяли воедино
в отточенный и преданный резец?
Проклятию не предал,
но «осанной»
не осенил творение своё,
он знал, что жизнь – не чистописанье
и что не клякса наше бытие...
Поэзия!

Судьба!
Какая смута!
О, если бы на темя «снизошло»
то яблоко, в котором хитрый Ньютон
искал на свой манер добро и зло.
Кому?
С каким уменьем и хотеньем
тупить о белый лист карандаши,
чтобы открыть в законах тяготенья
законы человеческой души?..
Он тяготел
к парижским ли салонам,
к холмам ли киммерийским,
суть-то в том,
что плоть земли и моря дух солёный
принёс он в отчий край и в отчий дом!

Я видел, как поэт угрюмолицый,
такой уж знаменитый, что – куда! –
любимец и деревни, и столицы,
пришёл однажды под вечер сюда.
На парапет усевшись, как на паперть,
и глядя на соседний мезонин,
шептал стихи, пришедшие на память,
среди толпы гуляющих – один.
А за его спиной шумело море,
клубился Карадаг в вечерней мгле.
Что видел?
Что решал он в вечном споре
забвения и славы на земле?..
И долго так глядел он молчаливо
в сгустившуюся пасмурную тьму,
где волны Коктебельского залива
слагают тихий реквием Ему...

ФИЛОСОФ

Наконец в его серое здание
заглянула ночная звезда,
и мучительный смысл мироздания
для него приоткрылся тогда.

И утратил он имя и отчество,
и забросил земные дела,
золотые плоды одиночества
стал он прятать в утробу стола.

И, покуда звезда не оттринула,
подходил он ночами к окну,
а потом мудрецам ледериновым
говорил, усмехаясь: – Ну-ну!..

Но в погоне за стилем отточенным
он забыл, что живёт на земле,
и в мозгу завелась червоточина -
древоточец завёлся в столе.

Пожиная плоды самомнения,
отвергая хвалы и хулы,
ждал прозренья – дождался сомнения,
уколовшего тоньше иглы.
Луч звезды, леденяще мерцающий,
издевательски всё обещающий...

И ночами, гонимый бессонницей,
заполняя бесцельный досуг,
стал копать он в собственной совести –
докопался и выяснил вдруг:

все родные и близкие вымерли,
навсегда позабыли друзья,

ветры времени начисто вымели
дух добра из его бытия.
Подошёл он, шатаясь, к столу –
и костёр запылал на полу..

Но страшней, чем бегут от пожарища,
он бежал от себя самого,
и увидел цветущий боярышник,
и смертельно вцепился в него.

Отыскал я могилу философа,
ни травинки на ней, ни цветка,
с той поры дорожу своим посохом
и степные пасу облака...

О РЫЖЕМ ДЕМОНЕ

Высок, рыжеволос и грудь в шерсти,
глаза как небеса над Пятигорском,
он армию туристов мог вести,
не то что нашу жиденькую горстку.
Он, простирая руки, как пророк,
Мартынова клеймил с зелёной желчью,
но, правда, у пророка был порок:
в порыве он хватал за плечи женщин.
– Пардон, мадам!
Запомните карниз,
трагически описанный поэтом...
Запомнили?..
Спустились...
Поднялись...
Короче, гид лупил по нас дуплетом:
– Купальни... Воды...
Гидовский басок
был сочен, благодушен и умерен.
– А это грот!
И выстрелил в висок:
– Здесь Лермонтов сидел с княжной Мери!

И я решил взобраться на Машук,
чтоб взглядом размахнуться на полсвета
и, может быть, узнать из первых рук
о гибели великого поэта.
Сияла даль.
Вдали сиял Эльбрус.
На нём дремала тучка золотая.
А предо мной шумел терновый куст,
последними цветами доцветая.
Внизу, в долине, лентой голубой
змеился полувывсохший Подкумок.

Воскресный человеческий прибор
обрушил в «Гастрономы» сотни сумок.

«Взмахни! Взмахни крылами, Горный Дух!
Пусть гидавскому духу будет крышка!» –
шептал я про себя, взывал я вслух
и вдруг – уткнулся носом в телевизку:
Вот это красота!
Вот это вид!

А снизу, словно демон сквозь туманы,
навстречу мне летел мой рыжий гид,
прижав к груди тамбовскую Тамару...



В ПУТИ

1986



ТРОПА*Г. Александрову*

Судьба от старости слепа.
Но мне даровано судьбою
под сенью лунного серпа
стоять над сонною Свапою.

Туманны заросли куги,
затоны, рыжие от ряски.
Водовороты и круги –
судьбою смешанные краски.

А наверху, на пустыре,
ограда древнего кладбища.
Ещё дымится на заре
тысячелетий пепелище.

«Сведомы кмети»* и стрельцы,
крутой подвластные планиде...
Здесь наши братья и отцы
спят в тесноте, да не в обиде!..

Среди раки и рясных верб
я отыскал тропу к истоку.
Мой проводник – мой лунный серп
все жнёт и жнёт времён осоку...

* «Мои ти Куряни сведомы кмети» (Мои Куряне, известные воины). *Слово о полку Игореве.*

Всё из того, золотого, запаса:
чаши кувшинок на берегу,
звуки и запахи светлого часа,
полдня на летнем лугу.

Луг серебрится, и речка струится,
марево тает в далёкой дали,
зноем в гнездовья загнаны птицы –
отдых усталой земли...

КАРТИНА

Воды Орлика спокойны,
холодны и зелены.
Дух болотный, запах хвойный,
ожидание луны.

Шелестят в ночи деревья,
камышы в воде по грудь.
Дремлет город. Спит деревня.
Проплывает Млечный Путь...

ВЕСНА

Проступают на небе проталинки,
голубые, как детские сны,
в них купается жаворонок маленький –
подголосок в хорале весны.

Камыши и прибрежные ивы
поклоняются полой воде,
ранний грач, смоляной и счастливый,
утопает в парной борозде.

Загустело затишье ночное
над полями, над шапками гнёзд.
Запах озими, дух перегноя,
ледяное молчание звёзд.

ЗА ГОРОДОМ*В. Енишерлову*

Опять за городом бетонным,
у голубого озера,
над ковылём, седым и сонным,
кружит цветочная пыльца.
Среди распахнутых ромашек
у полосы цветущей ржи
синь васильков и звон букашек
нам навевают миражи...

Полвека вглядываюсь в лица
людей, деревьев, облаков –
всё шевелится, всё теснится,
звеня колечками оков.
Уйдя корнями в пласт глубокий
и в подземелье выждав срок,
теснит соседей, тянет соки
и расцветает василёк.
Так сопредельное влиянье
смиряет друга и врага,
цветами противостоянья
пестреют нивы и луга.

Я сам на воле, как в неволе,
живу у совести в плену,
с которой съел три пуда соли
и выпил рюмку не одну.
За то, что мир мне непонятен
и непонятным будет впредь
и что на солнце столько пятен,
а я не в силах их стереть...
И ни к чему кричать о фальши,
слепой покорствуя молве:
«Одной ногой увяз в асфальте,
другой запутался в траве!..»

Опять на юг уходит лето,
освобождаясь от меня,
опять в просветах бересклета
колючки молнийного цвета
да полинявшая стерня.

Душа осела и остыла,
с годами осень тяжелей.
Пришла и тайну мне открыла,
что где-то в мире есть могила,
могила матери моей...

ПРИРОДА

Свобода голубеющего свода,
и шорох трав, и гул внезапных гроз –
всё то, что называется «природа»,
умеет доводить меня до слёз.

Быть может, смерть отучит и отлучит,
в безветренном раю остынет кровь.
Ну а пока – за что меня так мучит
к природе безответная любовь?!

ФЛОКСЫ*Миле Бегановой*

Отчего к вам ласкается ветер,
луч звезды окропляет росой?
В разноцветие ваших соцветий,
как в горящие угли, – босой!

В золотых и чернильных накрапах –
я цвета различаю на слух –
притаился похожий на запах
дух, вселяющий в душу недуг...

Горизонт раздвигается шире
или разум ныряет на дно, –
разве жить не в квартире, а в мире
человечьей душе не дано?!

В коже или в клетке словесной,
золотой, но постыдно земной,
мне, как в камере смертника, тесно, –
поиграйте в гляделки со мной!

Что-то близится, что-то подходит.
Назревает, назреет вот-вот!
Эх! Чудес не бывает в природе –
это осень с метлою идёт...

НА ОРЛИКЕ**1**

Над лесом, над бульварами, над садом
кружится, вьётся, мечется листва.
Земля и небо стёрты листопадом –
сплошная сеть вселенского родства!
Усталый мозг процеживает время,
бессонницу – в заплечную суму,
так хризантем изнеженное племя
струит свой дух в полуночную тьму.
Что движет миром –
дух или потреба?
Дым красоты?
Затмения ума?
Уходим в землю, вглядываясь в небо:
что свет без тьмы
и что без света тьма?..

2

Остывший Орлик.
Палая листва.
Ещё вчера блистательная крона,
изъедена червями и мертва,
заполонила зеркало затона.
Студёный ветер в зарослях куги
гудит, как домовой над пепелищем.
А по воде тяжёлые круги,
а небосвод как лодка кверху днищем.
Деревья, деревья и деревца
обнажены, черны и беспечальны.
Природа!
Ей не воду пить с лица.
Ей всё к лицу.
Любой наряд – венчальный!

3

Моя звезда взошла без опоздания.
Привет тебе, Полярная, привет!
Поплакаться в жилетку мироздания
и, может, у тебя найти ответ...
Когда дымит осенняя ботва –
прощальный дух и пламень огорода, –
найдя слова на грани волшебства,
постигнет мастер смысл круговорота.
Картофельный пустырь, как материк,
плывёт в ночи, свободный и открытый,
спешу постигнуть то, что не постиг,
под сенью звёзд,
под пологом ракиты...

ПОД ЛУЧОМ ЛЕДЕНЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ

Под лучом леденящей звезды
между сёлами и городами
августовские дремлют сады,
провисая тугими плодами.

За садами в предвестии дня,
сизоватой объята истомой,
отсыревшая пахнет стерня
солидолом и сладкой соломой.

...Я очнулся, затронув рукой
обжигающий куст бересклета.
На душе предосенний покой,
ожидание бабьего лета.

*«Сотри случайные черты,
и ты увидишь — мир прекрасен!»*

Александр Блок

Какой судьбы – какие кисти
тебя сметали по сусекам?
Так собирает осень листья
по лесосекам, по лесосекам.

Пока несёшь, в листве по пояс,
молвою сдавленные плечи,
летит, летит твой скорый поезд,
ещё не вечер, ещё не вечер.

Пока лопух цветёт в канаве,
пока звезда, мерцая, манит,
тропа к бесславию и к славе
не одурманит, не одурманит.

Ты разметёшь молву-кликушу,
ты разорвёшь паучью пряжу,
свою не выставишь ты душу
на распродажу, на распродажу.

Листва раскинется периной,
лопух подушкой обернётся,
шатёр небес согреет спину,
и жизнь вернётся, и жизнь вернётся...

Друзей поблѣкшие черты –
не слишком тягостное бремя.
Быть может, старишься и ты,
но у тебя иное время...

Чутьѣм сторонись зеркал,
но, взглядом быстрым и косящим
из бездны выхватив оскал,
замрѣшь, застигнут настоящим.

Кто погасил твои глаза,
кто по душе прошѣлся плугом?
Затихла вьюга, спит гроза –
что им делить над мѣртвым лугом?

АУ!*Ю. Трошину*

Ау, осенняя Москва!
Вдоль площадей и дымных улиц
к перилам Крымского моста
бреду, под временем сутулясь.

Ау, повисший в небе мост!
Куда ушли твои трамваи?
От ранних звёзд до поздних звёзд
в кольцо любви вела кривая.

Ау, любимая, ау!
Трамвай на свалке, дом в ремонте,
другие вытопчут траву,
найдут звезду на горизонте.

Ау, старинные друзья!
В чаду вещей, постов и званий
у нас повыцвели глаза
от непомерных притязаний.

Ау, прошедшее, ау!
Жизнь – океан, а люди – реки,
ещё, быть может, доплыву
до человека в человеке...

В МЕРЗЛЯКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

*Не потому, что от неё светло,
а потому, что с ней не надо света.*

Ин. Анненский

А в Мерзляковском среди тараканьих бегов
Анненский плыл между узенькими берегами...
Спал я, как будто на теле пестреющих летом лугов,
весь от подошв до макушки обросший лугами.

Плыли и таяли восемь таинственных строк,
напоминая, какой я бездарный и жалкий,
строки, которым, по слухам, завидовал Блок,
плыли и таяли в грязной глухой коммуналке.

Спал и не спал я, как будто бы жил и не жил,
в мире простраций, диковинных ассоциаций.
Богу ли, дьяволу душу свою заложил
ради восьми этих строк, неподсудных мне граций.

Что-то шептал мне на кухне обкраденный жизнью старик,
гневом косила старуха, годами горбата,
в комнате девушки я прикусил свой проклятый язык,
плыл и тонул на кушетке между Тверским и Арбатом.

Свет был погашен, и на небе не было туч,
время смешалось, в созвучьях запутались сроки,
луч безымянной звезды, приплудившийся луч,
словно космический цензор, просвечивал дивные строки.

Конские гривы и крупы размыло на чёрной стене, –
где ты, куда унесло тебя, дикий детёныш?!
Будь милосердна! Не я тебя создал, пригрезилось мне
что-то такое, чего на Коньке-Горбунке не догонишь.

Кто я и что я, зачем я родился на свет?

Что выражать языком и к чему прикасаться руками?

Предназначенье моё уничтожил почти неизвестный

ПОЭТ

там, между делом, восьмью незаметными строками.

ГЕОМЕТРИЯ ЖИЗНИ

Е. Лебкову

От рожденья ни злы, ни добры,
мы считаем вселенной квартиру,
в ослеплении детской игры
колесим по касательной к миру.

Равновесие школьной шкалы –
голубые законы Евклида:
там углы никогда не круглы,
там прямые строжайшего вида.

Эти истины, взятые впрок,
помогают в дорогу собраться,
но едва переступишь порог,
хоть аукайся в зарослях братства...

То прямые приводят к врагу,
то кривые уведят от друга:
караулит на каждом шагу
квадратура житейского круга.

Как надорваны плечи! Несёшь
жизнь и смерть на одном коромысле.
Если душу не вытравит ложь,
упадёшь под секирою мысли.

Что-то гонит и гонит – спешу
на призывный мираж постоянства.
Выправляй прямою души
кривизну мирового пространства!..

Жизнь не отбрасывала тени,
пока душа росла в зенит,
но ветви сердца облетели,
а старый ствол ещё звенит.

Ещё ни солнце и ни вьюга
его не могут побороть,
лишь родовых колец кольчуга
стесняет дух и сушит плоть...

В райцентре хоронили старика.
Не знаю, кем он был на белом свете.
Плыла машина,плыли облака,
старухи, старики, деревья, дети...

А на его рассудочном лице
такое затаилось выраженье,
как будто это он привёл в конце
весь мир в одностороннее движенье.

Сдвигалось и смещалось всё окрест,
живое и бессмертное покамест,
и старый домкультуровский оркестр
за гробом шёл, хрипя и спотыкаясь...

И довели до места, и снесли
к пределу, где кресты стояли косо,
и с каждым комом сброшенной земли
слабее становился запах тёса.

И стали расходиться, и оркестр
куда-то поспешал на именины,
а мне казалось – вбитый в землю крест
ухмылкой провожает наши спины...

Дочери

На пепелища и кресты,
на лист черновика
посмотрит мудрость с высоты,
а глупость – свысока.

На облетевшие цветы,
на пляску мотылька
посмотрит мудрость с высоты,
а глупость – свысока.

Служанка вечной суеты,
судьба во все века
на тех, кто смотрит с высоты,
взирает свысока.

Лене Черепковой

Гляди! Пушистый жеребёнок
точёной ножкой травы бьёт.
Почти духовный, как ребёнок,
почти абстрактный, как полёт.

На переломе и на стыке,
на тонкой дужке коромысл
струится космос безязыкий,
времен и судеб тайный смысл.

И может, высшая минута
тебе даётся для того,
чтоб лишь коснуться абсолюта,
а не ослепнуть от него...

ЧЕЛОВЕК

Взошёл на перевал,
куда стремился годы.
Слезами пировал
смиранный царь природы.

Узрел небесный круг,
камней нагроможденье.
Всё осознал, и вдруг –
пропало наважденье.

Нахлынула тоска
соблазна и коварства –
взойти на облака,
узреть иное царство...

УГЛЫ*Ларисе Новиковой*

В городе было четыре угла.
Всё остальное сгорело дотла.
То ли судьба в наказание сожгла,
То ли надежда на откуп взяла.

В комнате было четыре угла.
Женщина в ней одиноко жила,
чистила коврики, мыла полы,
в синих глазах отражались углы.

Жил в этом городе тихий чудака,
в небе снимал обветшалый чердак,
думал о чём-то, не зная о чём,
приворожённый рассветным лучом.

Женщина гордо по городу шла,
светлую голову в небе несла.
– Боже! – вскричал потрясённый чудака. –
Будь милосерден! Обрушь мой чердак!

Не помогают скопища слов –
в городе сделалось восемь углов...

ЧУДО

Постарел я, и стало мне худо –
не найти подходящих чернил.
И приснилась мне ты, моё чудо,
то, которому я изменил.

Я вскочил, я искал твоё имя
в стародавних своих дневниках.
Потускнело ли рядом с другими,
затерялось ли в жёлтых листках?

Как назвать тебя – Настя, Мария?
Кто ты – грёза, затмение, сон?
Понапрасну листал до зари я
разноцветие женских имён.

...Обронил, и оно раскололось,
разбежалось на тысячи брызг,
мне остался лишь мартовский голос,
мне остался июльский каприз.

Гнутый гребень и солнца осколки
на лице, на груди, на плечах
и упавшие в хвою заколки
в предзакатных и влажных Филях.

То ли взгляд, то ли вздох твой короткий
и в багряной листве октября
твоя тень вдоль чугунной решётки
у Донского монастыря.

И теперь на любом перекрёстке,
где давно отшумела гроза,
расколовшейся радуги блёстки
размывают и колют глаза...

Ты мне чужда.
Ты мне близка.
Ты, словно пуля у виска,
грозишь удачей.
Чего мы ждём,
куда бредём,
что в зимнем мире мы найдём?
Мне страшно быть поводырём –
я сам незрячий...

СЛЕПЫХ ОКОНЦЕВ КРУЖЕВО РЕЗНОЕ*Лиде*

Мальчишкою в сиренях полусонных
я сторожил оконные глазки,
покуда ты, проснувшись, как подсолнух,
под солнцем распускала лепестки.

Однажды подарил тебе цветы я,
и выпорхнули трепетнее птиц
подёрнутые влагой, золотые
твои глаза из тьмы твоих ресниц...

...Слепых оконцев кружево резное,
дощатое крыльцо, и у крыльца
струится в полуобморочном зное
ромашек желтоватая пыльца...

ЯЛТА*В. Поголеву*

Себя не сознавая,
природа входит в раж,
внезапно создавая
мираж и антураж.
От века и доныне,
сегодня, как вчера,
за дымкой номерные
стальные крейсера.

Пока в нейтральных водах
синее небоклон,
магнолией и йодом
наш берег напоён.
Пестрят и плещут пляжи,
и царствуют тела.
Хоть нравственность на страже,
горим, горим дотла...

Изменчивые звёзды
всплывут над головой,
вскипит вечерний воздух
синкопой голубой.
Студенты и шахтёры,
больные и врачи,
но кто из них который,
неведомо в ночи.

Браслетов аметисты,
обрывки полотна, –
пречистые туристы,
плечистая шпана?

Рубиновы бокалы,
кровавы шашлыки,
улыбки и оскалы,
тонзуры и зрачки.

А море по привычке
смывает грязь и ложь,
и никакой отмычки
к нему не подберёшь.
Чистилище и свалка
у бездны на краю, –
чего же нам так жалко
в потерянном раю?

Играем в мелодраме
повсюду и везде,
прижатые горами
к распахнутой воде...

Жить! На закате и рассвете
встречать гостей, и ждать вестей,
и попадать в чужие сети,
и рваться из своих сетей...

Жить! Ради слова, ради дела,
как будто каждый друг и брат!
Душа проснулась и взлетела –
полёт не требует наград...



ПАМЯТЬ
ЛЮБВИ
1990



Когда капли накопели,
весна, смывая снег и грязь,
омыла землю, как в купели,
и за растенья принялась.

Леса, поля и огороды
шумят листвой, пестрят травой,
чистописание природы,
триумф работы черновой!

КОРНИ

Был я болен и тем виноват
перед миром людей и растений,
но однажды ушёл я в закат
проводить удлинённые тени.

Я присел у слепого костра,
согревая озябшие руки,
и осенняя ночь, как сестра,
обняла меня после разлуки.

А когда от земного огня
глянул на небо в звёздных накрапах,
я почувствовал, как зеленыя
источают младенческий запах.

Я не думал, откуда взялась
и с такой прямою воплотилась
неподсудная разуму власть –
обращать наказание в милость.

Я стоял, не стыдясь своих слёз,
между звёздами и зелеными,
и меня не тревожил вопрос,
что считать в этом мире корнями...

ТРАВА, ЦВЕТЫ

Памяти А. К. Филатова

Трава, цветы...
Как мне уразуметь –
зачем, за что я этот мир покину?
Круг жизни замыкает точка – смерть,
всегда внезапная, как нож убийцы в спину.

Трава, цветы...
Ни славы, ни хулы.
Где берега?
Где мост меж берегами?
Зло ставит точку с точностью стрелы,
когда добро расходится кругами...

Трава, цветы...
Земные мудрецы!
Быть может, это вы в ином обличье
связали наконец начала и концы
цветочным запахом и щебетаньем птичьим?!

Трава, цветы...
Как мечется душа...
Как нежит взгляд травинку и цветочек...
Замолкни, разум!
Жизнь так хороша
в безбрежном океане многоточий!..

Холода Среднерусской равнины...
Опалённые кисти рябины,
голубые пары, зелена,
полусумрак короткого дня.
И распластанный дым в огороде,
и сугробы багряной листвы,
и усталая строгость в природе –
притупившийся траур вдовы...

ТУМАН

Туман занавесил цветы в луговине,
и зелень покрыта тяжёлой росой,
рыбак, по колени в тумане, как в глине,
висит с удилицем над сонной рекой.

Над лугом плывут отсыревшие звуки,
поют петухи, и заходятся псы,
заря сквозь туман – от излома излуки –
раскинула мост до песчаной косы.

Сидеть бы и мне на замшелой коряге,
на тоненький прутик низать пескаря
с лицом, отражённым от радужной влаги,
с душой, что проснулась ни свет ни заря...

Высокие годы, тяжёлые воды
туманом окутали душу мою,
стою, словно пасынок мирной природы,
над бездной тумана, на самом краю...

ПОСЛЕДНИЕ ЛЬДИНЫ

Последние льдины плывут по реке,
апрельские лёгкие льдины,
плывут облака, отражаясь в Оке,
плывут голубые осины.
И мостик, разрушенный полрой водой,
и сваи, поросшие мохом,
и трепетный запах травы молодой,
и ранних грачей суматоха...
Цветистый и праздничный сон наяву,
неведомый скуке и злобе:
весь мир на бегу, на лету, на плаву,
в неведенье, в страсти, в захлёбе!..

В СОННОМ МОЛЧАНЬЕ

В сонном молчанье дома и растения
на перепутье усталых миров,
даже созвездья мерцают рассеянно,
лишь маттиолы не спят вдоль дворов.

Что-то не пишется, что-то не верится,
что-то никто у тебя не в чести,
может быть, душу, как веточку вереска,
в Красную книгу пора занести?..

Хлебом насущным душа не насыщена,
кров не спасает от звёздных ветров,
что-то всё гонит и гонит, как нищего,
от площадей и от сельских дворов...

Кто-то придумал причины и следствия,
обозначения связей земных, –
спит одуванчик, с рябиной соседствуя,
вихрем развеванный в думах моих...

То озадаченный, то озабоченный,
пересекаешь судьбы бурелом,
что там в болоте и что на обочине –
рой светлячков или небо вверх дном?..

Стопа твоя легка,
в охотку этажи,
весёлая рука
хватает миражи.

На травы и цветы
глядишь как ротозей,
до неба полверсты,
и полон дом друзей!

Неужто ты потом,
все связи обрубя,
стареющим кротом
зароешься в себя?!

ИГРА

Когда домовито, но грозно
округу окатывал гром,
казалось, что это серьёзно,
что кончится дело добром.

Сосед улыбнулся соседу,
забыв о недавней вражде,
завёл одуванчик беседу
с ромашкой о тёплом дожде.

А он понакрапывал, дождик,
и всё улеглось в высоте,
как будто ленивый художник
опробовал краски не те.

В конце поднебесной забавы
поставила точку звезда,
чтоб люди, луга и дубравы
свой взор возносили туда...

Мы были голодны и босы
в послевоенные года,
и нас едва не под откосы
вышвыривали поезда.

Как альпинисты на привалах,
держа с землёй и небом связь,
мы жгли костры на перевалах
и пели песенки смеясь!

Теперь мы сыты и обуты,
отяжелели от удач,
наш хлеб и уголь – наши путы,
и не поётся нам, хоть плачь!..

БАЛЛАДА О КРАЮХЕ ХЛЕБА*Памяти Павла Мелехина*

Как поработал надо мною тиф!
Совсем освободил меня от плоти,
но, в ангела меня не обратив,
едва не сделал дьяволом, напротив...
Мне снился хлеб,
мне снилась кукуруза,
узбекский плов,
дунганская лапша, –
я превратился в страждущее пузо,
и поросла былём моя душа.
А за стеною, в девичьей палате,
остриженный барашек с жёлтым лбом,
глаза да кости, вешалка в халате,
впечатанная в память, как в альбом...

По коридору двигался солдат...
На костылях, в обвиснувшей шинели,
глаза его запавшие синели:
– А ну, посторожи котомку, брат...
Он скинул вещмешок и в процедурный
ушёл на перевязку кабинет...
Ударил запах хлеба, стало дурно,
поплыл перед глазами белый свет...

С краюхой под халатом и под мышкой,
с безумным, как и я, дурным мальчишкой,
мы вызвали соседку в коридор
и, спотыкаясь, кинулись во двор...
Мы ей признались...
И она ногами затопала,

завыла: – Ур-ка-га-ны-ы!
Проклятые фашисты!
Дураки-и-и!
Её слова разили, как плевки...

А мы катались в молодой крапиве,
мы плакали, стонали и вопили,
и уронивший костыли солдат,
пытаясь сесть, свалился рядом с нами,
легонько нас состукнул головами
и зашептал-заплакал:
– Так-то, брат...

БАЛЛАДА О РАННЕМ ДРУГЕ

Судьбой заброшенный в глубинку,
за тупиковый перегон,
носил он кепку-шестиклинку
и старый китель без погон.
Землетрясения, ураганы,
табак, урючные сады –
здесь притянь-шаньские дунганы
вели бои из-за воды.
Раскинув щупальца, как краб,
здесь воеводой был мераб.

На горизонте были горы,
рвалась в долину речка Чу,
но жизнь без фауны и флоры
была мальчишке по плечу.
Его работой был базар,
его пристанищем – мазар.

Он жил, не ведая обиды,
среди обугленных полей,
и вдруг, как с неба, инвалиды
из тыловых госпиталей...
Гармошки, драки, костыли
его в смятенье привели.

И он, четырнадцатилетний,
как будто смертно виноват,
кусоч ворованный, последний
стал сберегать для тех солдат.
Случилось так, что на вокзале
с поличным сцапали его,
но наказать не наказали –
определили в ФЗО.

И он смирился – раз уж влип,
прими режим и тяжкий «Дип».

Точил болванки для снарядов,
не поднимая головы,
и ждал единственной награды,
ждал дня Победы, но, увы...
Легко считать чужие беды:
«Ушастый шкет, кишка тонка,
но – дотянулся до Победы
от фэзэушного станка!»
...Жизнь бьёт таких наверняка –
мой друг сгорел от сыпняка.

САПОГИ

Памяти Степана Климова

Выходя из окружения
с командиром на руках,
принимал солдат решения,
в сапоги упрятав страх.
То он шёл лесными тропами,
то на брюхе полз, как мог,
между вражьими окопами
пробирался без сапог.

В полевой доставил госпиталь
командира своего,
помянул словечком Господа,
будто веровал в Него.
А когда свою дивизию
отыскал, полуживой,
навели ему ревизию:
– Драпанул с передовой?!

Он страдал косноязычием:
– Осрамился... Виноват...
По закону, по обычаю
упекли его в штрафбат...
...По планете, словно по полю,
сохраняя зеленыя,
сапоги его протопали
до сегодняшнего дня!..

ТИМОША

У местных барахольщиц нарасхват,
живей живого – надо же везуха! –
по всем статьям мужчина и солдат,
подумаешь, без глаза да без уха... ..
...А нам казалось, сгинут все враги,
когда сорвёт он грязную повязку,
когда пинками сбросит сапоги
и ринется в отчаянную пляску.
Мучной базар стонал, хрипел и пел,
Мучной базар прихлопывал и топал,
ишак ревел, и карагач скрипел,
и, весь в пыли, отряхивался тополь!..

Тимошу обожгла огнём война,
и в нём душа такая накипела!
Тимоша плакал – плакала страна,
Тимоша пел – страна, рыдая, пела...
Когда он подарил свою гармонь
проезжему солдату-инвалиду,
в груди его, в печи, погас огонь,
лишь одинокий глаз торчал для виду.
...Потом их было много, но того
кривого и безухого Тимошу
со всеми причиндалами его
тащу всю жизнь, как собственную ношу.

ПОКЛОНЫ

*И я пойду кринице поклониться
И зачерпну кувшинкою воды...*

Вячеслав Видченко

Родился в избушке и, гол, как сокол,
сперва поклонился кринице,
потом загляделся в широкий Оскол
и морю решил поклониться.

На Балтике кланялся минам семь лет,
вернулся седым и угрюмым,
и тут в нём проснулся прекрасный поэт,
и начал он кланяться думам.

Ему и осталось-то вроде чуть-чуть –
коснуться душой середины
и перед редактором, выгнувшим грудь,
склонить голубые седины.

Не смог, не осилил крутую тоску –
криницы, Осколы, Кронштадты...
Последний поклон на последнем веку
сровняли с землёю лопаты.

КОЛОДЕЦ*Г. Шагута*

Глубокий колодец,
обкатанный сруб,
из бездны уродец
с ухмылкой губ.

Полдневные звёзды
оттуда видны, –
неужто он создан
для той глубины?

Тяжёлою влагой
размыты черты,
каких-то полшага,
и он – это ты...

ПАМЯТИ ПОЭТА

От больного ума за плечами сума,
сандалеты на босую ногу,
впереди сумасшествие или тюрьма,
и молись ты хоть чёрту, хоть Богу...

Все друзья позади, все враги впереди,
все дороги пропахли полыньёю,
льют на тощие плечи чужие дожди,
омывая сиренью и стыньёю...

Подглядит и запомнит земляк-ротозей,
как ты прыгаешь с кочки на кочку,
ты погибнешь – и выплывет куча друзей,
ухватившись за лёгкую строчку...

ЛЕГЕНДА

Он был покладист и доверчив,
считал – до неба три версты,
он каждый день и каждый вечер
был с мирозданием на «ты».
Он был, как книга без заглавья,
затёрт, засален, запылён,
зато на ярмарке тщеславья
по курсу века оценён...

Но где-то там, внутри, глубоко,
в его душе зарытый клад
лежал до времени до срока
и вдруг взорвался, как снаряд.
Однажды, стоя над криницей
и провожая облака,
он стал страница за страницей
листать прошедшие века.
Из всех историй и мистерий
хлестала кровь, пьяным-пьяна...
Он дно души своей измерил –
в его душе жила война!..

Он до Адама проклял род свой
и сам решил пророком стать!
Но стал он перьями сиротства
всем на потеху обрастать.
Цвели цветы, и пели птицы,
своею жившие судьбой, –
лишь он не знал уже границы
между природой и собой.
Да и в самом его обличье,
в смешной бесплотности его

вдруг завелись повадки птичьи
и травяное естество...

Когда из тяжких подворотен
стекал на улицу народ,
он, забывая, что бесплотен,
всем загораживал проход.
Он, в сундуки перстами тыча,
кляня добро, взывал к добру,
разбросан и косноязычен,
как одуванчик на ветру...

Он, как букет прохладных лилий,
струился – чистая слеза,
и люди в страхе отводили
от глаз его свои глаза.
Его цедили сквозь ресницы,
но, неподвластные молве,
весною гнёзда вили птицы
в его косматой голове!

Его приветила эпоха,
всему есть мера, видит Бог:
с клеймом шута и скомороха
его впускали на порог...

ЧУЖАК

Не сплю ночей, как мартовский ручей.
Бреду по тротуару городскому.
Я блудный сын, с рождения ничей,
я человек, но где пути к людскому?
Я болен, я бессонницей томим,
находка для храпящих психиатров...
А ты, земля, сними свой скудный грим,
всё в мире спит, оставь его до завтра.
Округлая и сытая луна
как баба деревенская в расцвете,
а на земле такая тишина,
хоть разревись – не вздрогнут даже дети.

Куда же я, потерянный, бреду,
куда бегу от каменных громадин?
Какому жаловаться высшему суду
на то, что бедный разум мой украден?
Зайти за горизонт и не упасть,
освоиться в четвёртом измеренье,
у Бога и у дьявола украсть
прозрачное, как воздух, озаренье!
Где глубина, где сладость райских куш?
Где высота, где горечь звёздных истин?
Но Бог бессилён, дьявол всемогущ,
а человек завистлив и корыстен...

Вы знаете, как травят чужака
прислужники хозяина – собаки?
Швыряют навзничь, рвут ему бока,
собаки – что им знать о честной драке?!
Он не виновник, просто он один,
ему лизать хозяев надоело,

метаться по цепи остервенело,
гремять тяжёлой цепью до седин.
И вот они его на части рвут,
простые деревенские дворняги,
наедине трусливые, а тут,
в родимой своре, полные отваги.
Мой бедный пёс, ты бился, как боец,
клыками вражьей глотки разрывая,
ты, издыхая, понял наконец:
прислужники страшней своих хозяев...

Заря над соснами, над сонною рекой,
заря над отцветающей гречихой,
и здесь покой, но здесь такой покой,
как будто эти сосны знают выход.
На противоположном берегу
колючий луг, укрывшийся в тумане,
и там, на этом скошенном лугу,
я вижу то, что мучает и манит:
пять-шесть коней, унылый табунок
и у костра мальчишка-пастушонок,
а с ним ушастый пёс, почти щенок,
меня чуть свет облаявший спросонок...

Смешно вздыхать о милых пастухах,
поругивая город-муравейник,
когда и в этих мокрых лопухах
судьба сжимает глотку, как ошейник.
Так где же выход, есть он или нет
здесь, на земле, и там, под небесами?
Неужто мысль – оставить в жизни след –
насмешка одиночества над нами?..
И снова город. Листья шелестят
беспечных тополей пирамидальных,

надраенные статуи блестят,
гнилой картошкой тянет из подвальных.

Сижу в канаве, глупый и больной,
срываю белобрысые ромашки,
а там, вверху, хохочут надо мной:
«Что делать? Ты родился не в рубашке».
Хохочут эти серые дома,
смотря на мир глазами занавесок,
серванты, телевизоры, тома
и человек, их нынешний довесок...

Эй вы, дома!
Эй вы, кто спит в домах!
Министры, кандидаты, работяги,
какого чёрта роетесь в листках
небрежно отсвинцованной бумаги?!
Шпаргалочники!
Жалкая напасть
безверием отравленного века..
Проснулись... и, позёвывая всласть,
натягивают маски человека...

СОКРАТ

Сограждан собственных любя,
учил их безвозмездно
в себя заглядывать, в себя,
стоять над бездной.

Пестрел триерами Пирей,
но ни одна Кассандра
не нагадала ни морей,
ни Индий Александра.

Лишь он истории зачёт
сдавал без проволочки,
ну а поскольку всё течёт,
то не писал ни строчки.

Острил и спорил там и сям –
нельзя прожить без денег,
вот и шатался по гостям
классический бездельник.

А был ваятель, говорят,
так нет же – бил баклуши,
вот и добился! – так творят,
когда ваяют души...

Нас всех прельщает горний свет...
Тропа змеится круто,
да за спиной стоит сосед
с целебною цикутой.

ДИОГЕН

Вышел я в полдень с ночным фонарём,
стал я искать человека:
встретился с деревом и с муравьём –
что за оказия? Эка!

Тот лихоимец, другой лиходея...
Вдруг я споткнулся — и в яме,
Глядь, а вокруг меня тыщи людей,
все как один – с фонарями...



СТАРОЕ
ТАНГО

1993



БЛАГОВЕСТ

Звонят к заутрене. Давно уж не звонили.
Распугивают галок и ворон.
Сияют купола, сверкают шпили.
Сквозят кресты, как после похорон.

Звонят, звонят размеренно и глухо,
не разобрать – вблизи или вдали,
в ограде верба – дряхлая старуха
склоняется макушкой до земли.

Я не войду в старинную ограду,
лишь постою, смущён душою, за...
Пусть вышний звон навевает мне отраду
и увлажнит иссохшие глаза...

ЛЕБЕДИ НА ОРЛИКЕ

Внезапно разглаживаются морщины,
пропадают следы бытовых страстей,
и расслабляющие кулаки мужчины
становятся похожими на детей.

Лебеди, лебеди, сказочные птицы!
Белые и чёрные, как добро и зло,
как вам удаётся наши пасмурные лица
превращать в человеческое чело?

Ходит, поскрипывая, висячий мостик,
зыркает нищий, грозя и моля,
он тут хозяин, а мы только гости
на палубе сумасшедшего корабля.

Пенится радугой отравленный Орлик,
проплывают лебеди, неслышно скользя,
и что-то такое ворочается в горле,
но расслабляться нельзя...

Что же нам – чувства прятать в иронии
или оправдываться в неразборчивом лепете?
Мы мимо жизни плывём, посторонние,
потусторонние, мимо нас – лебеди...

СТЕПНОЕ ОЗЕРО

Л.Ю. Новиковой

Я увидел степное озеро,
когда на нет сошла луна:
вода, густая, как молозиво,
прохладных лилий белизна.

Дымилась гладь его зеркальная,
похоронившая луну,
созвездия зодиакальные,
отсыревая, шли ко дну.

А на рассвете бледно-розовом
бессмертники и ковыли
головки свесили над озером
и к водопою прилегли.

И вслед за жаркими зарницами
на берег хлынули лучи
с людьми, отарами и птицами,
перворождёнными в ночи.

ЧАЙХАНА

Рите

Здесь обретают временный уют
погонщики верблюдов, змееловы,
играют в нарды, чай зелёный пьют,
вкушают бешбармаки, манты, пловы.
Неспешное общение любя,
встречают пилигрима, словно брата,
оправив полы пёстрого халата,
сидят часами – ноги под себя.

Не к этим ли дорожным кураям,
взбивая пыль на ослике кургузом,
спешил невольник мудрости Хайям
отдать поклон вину, любви и музам?
Сам Тамерлан, покорный временам,
протясь навек с родимым Керуленом,
полмира приторочив к стременам,
сложил добычу к глинобитным стенам.

Аллах велик, а небосвод высок...
Фаланги македонца, войско ханов –
всё пересеял времени песок,
всё уложил в могильники барханов.
...Она шумит с темна и до темна,
привычная для глаза и для слуха,
харчевня, клуб, пивная – чайхана,
оазис духа.

СУШНЯК

Как море в минуты прибоя,
как синь грозовых облаков,
на фоне бордовых обоев
сияет букет васильков.

В головках телесных и сочных
обрывки видений и грез
о днях и ночах непорочных
под крыльями птиц и стрекоз.

В хрустальной сиреневой вазе
недолго стоять им в углу,
всему, что зачато в экстазе,
мучительно кануть во мглу.

Легко поменяться местами,
судьбы не изменишь никак:
мы тоже, рождаясь цветами,
ссыхаемся в серый сушняк...

ЛИСТОПАД

Геннадью Александрову

Душа такого не припомнит,
такого не было со мной:
шум листопада был приподнят
над кромкой леса, над стернёй,
над обмелевшею речушкой,
над пожелтевшю лозой
и над пастушкой с белой кружкой,
присевшей рядышком с козой...

ПАУТИНА

Паутина в осиновых чащах,
паутина в берёзовых рощах,
сизый морок, по миру летящий,
укрывает и выгон, и площадь.

По тропинкам опавшего сада,
по дорожкам увядшего луга
прохожу я, пастух листопада,
паутиной опутанный туго.

Разомлев от теплыни в полыни,
пауки понаделали пряжи,
запропала земля в паутине,
и никто не заметил пропажи...

ПЕТЕРБУРГ

*«Добро, строитель чудотворный! –
сказал он, злобно задрожав... –
Ужо тебе!..»*

А.С. Пушкин

Кто двинул рать амуров и химер
в нетёсаное царство круглых брёвен, –
он просто был слепой или Гомер,
он просто был глухой или Бетховен?
Напротив Исаакия, в саду,
мужик справляет малую нужду.

Сдирая с классицизма штукатурку,
на Невском оркестранты правят суд –
играют разухабистую «Мурку»,
а впечатленьё – жмурика несут.
Мой бедный Йорик-жмурик-Петербург,
о, если бы воскрес твой демиург!..

Куда скакать кентавру Фальконета?
Кого когтить оципанным орлам?
Держава, как разменная монета,
со звоном раскатилась по углам.

Нырять в метро. Шатаясь, как с похмелья,
вылезать наугад из подземелья
и догонять грохочущий трамвай.
Рассудком люмпена, душою погорельца
то плакать, то глумиться, как Мамай,
над миром красоты, сходящим с рельсов...

ПРОМЕНАД

Царскосельские пенаты.
Трёхвековой променад
превращает в экспонаты
парк, дворец, лицейский сад.
Галерею Камерона
и подворье кирасир –
императорского трона
куртуазно-праздный мир.

Ордена, кресты и ленты,
сёдла, сабли, кивера,
палаши и позументы –
всё игра и мишура?
Костюмерная морока,
медовуха и Кликко –
ради каменных барокко
и альковных рококо?..

Жили-были Петр и Павел,
Николай и Александр...
Променад сей крест оправил
в пастораль и палисандр.

Люстра звякнет, кресло скрипнет –
время пятится назад.
Ветер пилит тоньше скрипки
трёхвековой променад.

СОБЛАЗН

Не сотвори себе кумира
и не прелюбы сотвори –
сия библейская стихира
меня сжигает изнутри.
Что дух и плоть – собор и фреска?
Дыша и тем уже греша,
скупыми проблесками блеска
не насыщается душа.

Зачем же запер ты, Господь,
надмирный дух в мирскую плоть?

Воздвигнув стены и стропила,
ты щель оставил в потолке,
дабы соблазном ослепила
меня свеча в твоей руке.
Я, пёс, бездомный и поджарый,
закрытый в будке на засов,
скулю и вою на Стожары
и на созвездье Гончих Псов.

ГРОЗА

Малыш играл с аквариумной рыбкой,
подсовывая кисть, по спинке проводя,
а в полутьме сидел старик со скрипкой,
их размывало пеленой дождя.
И город, молнией распорот,
подбрасывал соседний дом с иглой,
и женщину с ведром, и дворника с метлой...
В передниках и с пятками босыми,
им приходилось плыть, а не идти,
дождь падал с неба струями косыми
и где-то исчезал на полпути...

Я в ночь глядел с восторженным лицом,
не поддаваясь взрослым уговорам,
а в этот миг за матерью с отцом
причаливал к подъезду «чёрный ворон».
Текла по подоконнику вода,
а снизу наплывали силуэты,
они росли, росли... и воды Леты
над очагом сомкнулись навсегда.

ДЕВА

Я рождён под созвездием Девы,
пребывая в подобной чести,
незапятнанный шлейф королевы
я обязан по жизни нести.

А несу я, судьбою забытый,
суковатую палку в руке,
для подруги своей знаменитой
созидаю дворцы на песке.

Но она на поля, и на нивы,
и на весь мой земной вертоград
сквозь ресницы бросает ленивый
и как будто насмешливый взгляд.

Я служу ей, как рыцарь невесте,
но когда-нибудь мне надоест, –
покровительство высших созвездий –
непосильный для смертного крест...

ЛЮБОВЬ

Роса и ветви краснотала,
чужого города огни.
Моя любимая устала
влачить сиреневые дни.

Она считает мелодрамой
жизнь в шалаше из диких роз,
и вместо драного Адама
ей снится джинсовый завхоз.

Весь мир поэзией окутан,
но, как душою ни криви,
где есть любовь, там нет приюта,
где есть приют, там нет любви...



В РАСКОЛДОВАННОМ МИРЕ

1996



В РАСКОЛДОВАННОМ МИРЕ

Мы живём в расколдованном мире.
Сказки кончились – скучно, старо.
Злой иронии, едкой сатире
вручено золотое перо.

Что поделаешь – всё по науке:
подобрали к природе ключи,
а Емеля без сказочной щуки
так и свищет в кулак на печи.

Нам почти удалось откреститься
от стихов, от восходов и звёзд,
жирной курицей стала Жар-птица,
потерявшая радужный хвост.

Мы утратили магию слова,
взбаламутив источник до дна,
остюки да гнилая полова
обретаются в роли зерна.

Ох, учёные, будь вы неладны!
Напрягите высокие лбы –
синтезируйте нить Ариадны,
дайте шанс в лабиринте судьбы.

В РОЛИ АКЫНА*Рите*

Я в роли акына. Пою обо всём.
В любую погоду бреду без дороги.
Исхлѣстаны плечи пургой и дождём,
изрыты ступни о крутые пороги.

Я в роли акына. В ней сотни ролей.
Сквозной карнавал и безумство мистерий,
в ней гул площадей и безмолвье полей
слагаются в судьбы людей и растений.

Я в роли акына. А вместо домбры
под пальцами пляска и цоканье клавиш.
Я пленник игры, но созвездья добры,
к пространствам судьбы часовых не приставишь.

Я в роли акына. Село и аул,
столица и стойбище жаждут глаголов,
чтоб слить воедино, в торжественный гул
молитвы мечетей, церквей и костѣлов.

Я в роли акына. Струна порвалась.
Замкнулась душа, немотою терзаясь.
Вселенская связь и словесная вязь
опять не срослись в плодоносную завязь...

ВРЕМЯ

Рыхлая баба снимает бельё с узловатой верёвки,
пьяный мужик перекрыл своей грудью канаву, как дзот,
клёны роняют листву, балансирует голубь на бровке –
в мире мистерий на цыпочках Время идёт.

Время шутя проникает в любую лачугу и крепость,
вечный свидетель смертей, и зачатий, и стирки белья,
лепит из наших ничтожных страстей героический эпос
и надзирает за нами в тюремном кругу бытия.

КРЕСТ

Ивану Рыжову

Ходит по городу старый знакомый,
курит, сутулится, ищет друзей,
пасмурной Родины сын незаконный,
душу свою превративший в музей.

Перепевает, перепивает,
переживает себя самого,
день убывает, тень прибывает
и с головой накрывает его.

Нянчит осенние строки и строфы,
птиц провожает с насиженных мест,
думаю, он донесёт до Голгофы
свой неподъёмный, праведный крест.

РОССИЯ БЕЗ КРЕСТА

С пустым ведром не перейду дорогу,
с пустой душой стихов не напишу,
не думаю, что я угоден Богу,
живу, дышу, а значит, и грешу.

С годами не расширилось, а сжалось
и по любому поводу болит
то место, где рождается в нас жалость,
то место, где рождается в нас стыд.

В терзаниях наших небо не повинно,
но жизнь – не сказка о добре и зле,
всё дело в том, что сердце-сердцевина
есть у всего живого на земле.

...Хотя мы Божьи тени, только тени,
перед твоей «Россией без креста»
я просто опускаюсь на колени
и замыкаю грешные уста.

МУРАВЕЙ

Ю. Чубукову

Безымянный пассажир на верхней полке,
я вписался и втянулся в общий круг
и мотался, словно нитка при иголке,
под вагонный перегонный перестук.

Понимая, что сиротство не в награду,
был я каждому и всякому родня,
прилепился к человеческому стаду
так, что не было отдельного меня.

Дни и годы нарастают не в нагрузку,
если с детства ты сдаёшь себя внаём,
и, с поправкой на усущку да утруску,
оставался я вселенским муравьём.

Я летел на дух полыни и гудрона,
беспородный и безродный до седин,
чтобы вдруг среди галдящего перрона
спохватиться и увидеть – я один...

Облик времени неясен и неярок,
но в наследство от дурного волшебства –
одинокество, магический подарок,
вроде пятого туза из рукава.

ЗВЕЗДА*В. Беганову*

В моё окно звезда вечерняя
глядит, подмигивая мне,
но для меня, для виночерпия,
не только свету, что в окне.

Я говорю: – Ко мне по случаю
сошлись старинные друзья,
а ты подмигиваешь, мучая
и праздной вечностью дразня.

Мы здесь живём и пьём по-чёрному,
мы смертны, впереди – ни зги...
Лети, пожалуйста, к учёному,
ему запудривай мозги.

В ответ она вонзилась штопором
мне прямо в душу – вот беда...
И я запел мощней, чем Штоколов:
– Гори, гори, моя звезда!

БРОЖУ ПО ОСЕНИ

Брожу по осени кругами,
выписываю кренделя,
и в перелётном птичьем гаме
меня баюкает земля.

За переключкою домашних
и перелётных косяков
на зеленях и свежих пашнях
пасутся тени облаков.

Быть может, я немножко выпил...
Но перелётная страда
томит птенца, который выпал,
однажды выпал из гнезда.

Я соберу багряный ворох
и, чиркнув спичкой, посмотрю,
как этот ворох, словно порох,
отсалютует сентябрю.

... Мы всё бесцветное отринем
и соберём в лесной альбом
синкопы жёлтого на синем
и серого на голубом.

* * *

Ген. Александрову

Висячий мостик. Ряска над водой.
Торгуют шашлыком и мутным пивом.
За листопадом купол золотой
стесняет грудь заутренним призывом.

Пуста душа, не варит голова,
напрасный белый лист торчит в машинке.
Осенние поблёкшие слова
как в заводи увядшие кувшинки.

Деревья не стыдятся желтизны,
траву не унижает увяданье,
лишь мы должны – кому? за что? – должны
воспринимать старенье как страданье...

Пока шашлычник, острый, как шампур,
жуёт свою усатую ухмылку,
лотошница в причёске «Помпадур»
суёт мне в руки мутную бутылку.

Презенты Магомета и Христа.
Торговцы в Божьем храме – всё в ажуре?
– Эй, гамарджоба! Выпьем и закурим...
Душа пуста, как снятая с креста.

ВЗАЙМЫ

Октябрь, а солнце как в июле,
ни облачка, ни ветерка, –
неужто лето нам вернули?
Нет, одолжили на пока.

Не так ли нам в седые годы,
отодвигая власть зимы,
даётся милостью природы,
вторая молодость взаимы?

Но, чтоб душа не надломилась,
как в половодье зыбкий мост,
мы эту щедрость, эту милость
пускаем по ветру, вразнос...

ИМЯ

Безымянный сосед в отправной суете
сладко грезит небесною манной,
на перроне столетний старик в канотье,
даже сам для себя безымянный.

И летят самолёты, и бегут поезда,
все мы в поисках имени по свету рыщем,
и восходит звезда, и заходит звезда
над глухим безымянным кладбищем.

Над могилой гранит или ясень кривой,
обнялись-обвились корневища и корона, –
вот наш верный эскорт, наш надёжный конвой –
обретённое имя лачуги и трона.

ТЕПЛО

Мороз прижарил не на шутку,
до школы целых три версты,
вдруг, вся укутанная в шубку,
со мною рядом села ты.

Скрипели весело полозья,
летя по нежному жнивью,
а козья шаль и шубка козья
кружили голову мою.

Перемела метель дорожки,
но проторила к двум сердцам,
твои хрустальные серёжки
подзвякивали бубенцам!

Ну а потом была столица.
Полозья в Лету унесло.
Но мы бок о бок – счастье длится,
в меня течёт твоё тепло.

АЛЛЕЯ

Тане Блиновой

Кустами роз обсажена аллея.
Прохожие ушли в себя самих,
как будто, розовея и алея,
цветут и пахнут розы не для них.

Одни несут бутылки и батоны,
укрывшись от небес в дождевики,
другие, распустив свои бутоны,
купают в свежей влаге лепёстки.

Так вот зачем заборы и соборы –
чтоб жили мы, друг к другу снисходя,
два высших вида фауны и флоры,
разъединённых нитями дождя.

ДОЖДИК

Налетел внезапный дождик,
с тополей сбивает пух,
приоткрылся подорожник,
приосанился лопух.

Напоил кусты у дома,
надышался маттиол
и прошёл без шума-грома,
сделал дело – и прошёл.

ЗВЕЗДА УПАЛА

Игорю Бойко

Звезда упала в женские ладони,
и пошатнулась женщина, смеясь,
а в озарённом искрою затоне
огнём желанья лилия зажглась.

В безумии рыбак отбросил снасти,
возжёт от жаркой искорки костёр
и к женщине, слабеющей от страсти,
свои ладони тяжкие простёр.

Цветы и травы бросились в объятья,
и судорга прошла по глади вод,
а пламя непорочного зачатья
зеркально отошло на небосвод.

ЛИВЕНЬ

Большое облако над маленьким нависло
и двухэтажным ливнем пролилось,
развесило над полем коромысло,
цветистое, как русское «авось».

Я сделал импульсивный жест – по локоть! –
избавиться от зимних лет и дум,
ногами хлюпать и глазами хлопать,
брести по тёплым лужам наобум.

Морозцем тронута рябина,
встряхни – и заиграет гроздь,
резными гранями рубина
оледенит, озвучит горсть.

В затонах с порыжелой ряской
пролётным родичам вослед
вершится посвистом и пляской
хозяйских птиц кордебалет.

Костры в саду и огороде
лениво-дымные уже, –
предзимье хрупкое в природе
и в человеческой душе.

КОКТЕБЕЛЬ*Н. Краснову*

Сначала окунуться и наплаваться
и, покидая синюю купель,
вдруг осознать, что ты на месте,
в Планерском,
что вновь тебе дарован Коктебель.
Ну а в природе всё, как ей положено,
свершается несуетно и в срок:
на ближних скалах с профилем Волошина
давно уже отцвёл испанский дрок.

Но как легко и радостно довериться
морской стихии, скалам и холмам,
долинам с виноградником и вереском,
причалам, кипарисам и садам.
Крестьяне и природа не наперсники,
совместно проливают сто потов,
чтоб мы вкушали сладостные персики,
вино и виноград любых сортов.

На набережной море пахнет дынями,
а от мангалов просто бьёт под дых
чуть сыроватый и слегка продымленный
телесный сок барашков молодых!
Соблазны утолив, мы снова на море,
оно слепит, и брызжет, и зовёт,
у пирса, точно высеченный в мраморе,
готов к отходу белый теплоход.

Ещё закат висит над кипарисами,
багров залив, багряны гребни гор,
а где-то за небесными кулисами
ночной спектакль готовит режиссёр.
Вдали за переходами холмистыми,
где днём царят кураж и эпатаж,
загаженный бесстыдными нудистами,
купаются в прибое дикий пляж.

Под звёздами, по-южному высокими,
под слабым светом лунного серпа
по набережной встречными потоками
разряженная движется толпа.
Открытые кафе и ресторанчики,
кассеты заглушают звон цикад,
с накачанными бицепсами мальчики
смакуют «Чёрный доктор» и «Мускат».

Но всё и вся придёт без опоздания
на некий освещённый пятачок,
где назначают встречи и свидания
и любят попадаться на крючок.
Загары здесь не прячут под румянами,
сентябрь – что ни кустик, то постель.
Короткими курортными романами
от основанья славен Коктебель.

Здесь, разложив полотна и треножки,
под звук рожка и переборы струн
торгуют импозантные художники
набором лун и солнечных лагун.
Аквалангисты, гордые, как авторы,
с морёными обломками триер
вам предлагают греческие амфоры,
которые держал в руках Гомер...

Но под конец таких нагрузок пиковых
не выдержит любой карман и вкус
при виде яшмовых и сердоликовых
кулонов, ожерелий, брошей, бус...
И это всё, измеренное «баксами» –
изящные поделки, мишура... –
с девицами грудастыми, губастыми
здесь будет тусоваться до утра.

СТРЕКОЗА*Лиде*

В сентябрьский полдень в лоджии просторной,
обвитой виноградною лозой,
вдыхая аромат морской и горный,
я встретился с прекрасной стрекозой.

На крыльях перламутровые блёстки,
глаза навывкате, холодные, как лёд,
в её природной лёгкости и в лоске,
казалось, воплотился сам полёт.

Не доверяя зрению и слуху,
я вдруг остолбенел – на грани чувств:
царица насекомых ела муху,
и в тишине был слышен слабый хруст.

Я, потрясён виденьем плотоядным,
невольно загляделся на откос,
где женщины в наряде шоколадном
резвились наподобие стрекоз.

Надев бикини, платьвица и юбки,
цветистые умчались мотыльки
вонзая свои пленительные зубки
в дымящиеся кровью шашлыки.

Придёт пора – они примерят шлафор,
и, с сожаленьем глядя им вослед,
ни радужных сравнений, ни метафор
не сможет отыскать для них поэт.

Ну а пока под солнечной короной
солёный бриз лелеет их каприз
и осеняет царственную кроной
вечнозелёный крымский кипарис.

ЧЬИ-ТО
СНОВИДЕНИЯ
ПРОВОЖАЯ

1997



КОВЧЕГ

Всё-то мне бродится, всё-то мне бредится,
спать не даю ни себе, ни другим,
дразнит сосцами Большая Медведица,
звёздное млеко глотаю, как дым.

Поздние росы прохладнее инея,
ноги промокли, и сам я продрог,
ночь беспредельная, ночь соловьиная,
дай надышаться досыта и впрок.

Дай наглядеться, дай мне наслушаться,
дай докопаться до звёздных корней,
лёгкая лодка на отмели сушится,
двое влюблённых устроились в ней.

Я ни на что в этой жизни не сетую
и признаюсь, ничего не тая:
сладко вздыхать и дымить сигаретою,
щёлкать и петь на манер соловья.

Филин кугукает в диком орешнике,
в лодке на отмели шорох и смех,
все-то мы грешники, все пересмешники,
всех нас баюкает звёздный ковчег.

...Судьбы не считаны, время не меряно,
томные розы шипучи до слёз,
для скакуна и беззубого мерина
в Божьей горсти не иссякнет овёс.

ГОРОД

Город расчищен и вымыт.
Влажный простор площадей
ждёт, когда встанут и хлынут
толпы угрюмых людей.

Вот воробьишка запрыгал,
корм отыскал и затих,
тянут собаки на выгул
сонных хозяев своих.

В кроне росистых растений
плещется солнечный день,
люди выходят из тени,
чтобы отбрасывать тень.

В ДЕТСКОМ ПАРКЕ

Кружит над Орликом листва,
скрипят качели в Детском парке,
полунагие деревья –
свечные жёлтые огарки.

Грибков ржавеющая жесть,
амфитеатра горловина,
дощатый птичник – что-то здесь
от теремка и от овина.

Старух оплывший стеарин,
молочно-кислые внучата,
фазан – китайский мандарин,
а уж фазаниха квохчата!

Весёлых листьев канитель
творит гирлянды и мониста,
и одинокий поздний шмель
жужжит над бархатцем пятнистым.

НОЧНЫЕ КВАРТАЛЫ

1

О, эта тишина ночных кварталов!
Тяжёлая, как бархат, тишина,
журчат ручьи размеренно, картово, –
ты спишь, ты не одна, тебе – до сна.

2

Я обретал твой лик на лунных пятнах
и вновь терял в удушливой ночи,
цвели цветы, и так щемяще пахло,
и, тёплые, картавили ручьи.

3

Но кто меня втоптал или возвысил,
раскручивая времени волчок
в противоход, в пространство мнимых чисел,
где всё смывает памяти поток?!

ДВОРНИК

Он берёт метлу и старый ватник,
озирает двор, как господин:
под росой курчавится гусятник,
одуряет запахом жасмин.

Блёклою луной размыты тени,
назревают птичьи голоса,
ветер спит в объятиях сирени –
до рассвета ровно полчаса.

Чьи-то сновиденья провожая,
чью-то ночь, сгоревшую дотла,
истовая, стёртая, чужая,
шаркает и шаркает метла.

КАРТИНА*В. Е.*

Эти луны нарисованы,
эти звёздочки замешаны
так, что ветви стонут совами,
так, что дебри пляшут лешими.

Эта гиблая болотина
водяными взбаламучена,
чья тут заводь, чья тут родина,
подколотная излучина?

Сон ли смертный, жизнь ли пряная
с насекомыми-растеньями –
эти противостояния
между кроной и корнями?

Гнусом внутренним искусанный,
я стою, слепой от зависти
к этой вязкости искусственной,
к ароматной этой затхлости.

Ни кивком, ни жестом разовым
не избыть нам стылой млечности,
спит душа в объятьях разума,
как мгновенья в путях вечности.

КОНЦЕРТ

Присел на одинокую скамью
в берёзках у речного косогора.
Скворец усердно вторит соловью,
солируют вдвоём на фоне хора.

Равнина майским солнцем залита,
придёт гроза, но сердце не сожмётся –
симфония для скрипки и альта
с оркестром – это Моцарт!

Природа не чурается длиннот,
но кто рассудит, мало или много
для Моцарта – семь нот,
семь дней – для Бога?!

НЕ ОТ МИРА...

Человек не от мира сего,
как его называют другие,
вырывает своё естество
из объятий ночной ностальгии.

Человек не от мира сего
бредит степью и бредит горами,
вспоминает родное село,
а потом поливает герани.

Человек не от мира сего,
как лунатик, обходит квартиру,
и его испитое чело
открывается граду и миру.

Человек не от мира сего
на земле проживает впервые
и не знает, что страсти его
отгорят, как цветы полевые.

ЗОЛА

Невесомое бремя молодого бродяжьего духа –
жизнь берёшь «на ура», и послушно идёт к Магомету
гора.

Тополя, провожая меня, шелестели: – Ни пуха...
Перелётные стаи курлыкали мне: – Ни пера!

Я всходил на перроны, пропахшие углем и шлаком,
я летел, никому не давая отчёта, зачем и куда.
Понапрасну пугала Полярная мстительным зраком,
семафоры чеканили честь, пропуская мои поезда.

Я, быть может, родился в рубашке в пресветлом чертоге,
я, быть может, родился без кожи на пыльной рогоже,
и не зря васильки да ромашки стелились под ноги,
не случайно репы да колючки хлестали по роже!

Сердце стало посуше – из него испарилась отвага.
Уголь выгорел в топке – зола сопричастна сединам.
Угнетает стерильностью электровозная тяга.
Округлилась судьба, и куда ни ступи – середина.

ТЕНИ

*«Дни поздней осени бранят обыкновенно,
но мне она мила...»*

А.С. Пушкин

На серые дома, на пасмурные скверы
осенняя накатывает мгла.
Зажгутся фонари, и тени, как химеры,
на город наползут из-за угла.
И улицы замрут, и в окнах свет погасит
старинный человеческий обряд.
Пустынный этот мир по-новому прекрасен,
как женщина, что сбросила наряд.

Среди ночных теней я тоже вроде тени,
прохожие проходят сквозь меня...
Уйдя от степеней, взбираюсь по ступеням
всё дальше от рассудочного дня.
Полярная звезда лохмотья туч колышет:
«Когда-то я была тебе нужна,
теперь ты постарел и сгорбился под крышей,
душа как опустевшая казна».
«Напрасно я тобой отвергнут и обруган,
с рождения мне данная судьбой, –
держусь за тонкий луч, небесная подруга,
иду по горизонту за тобой...»

Толпятся надо мной усталые деревья.
Чернеющие ветви в небесах,
что снится вам сейчас, таёжные корчевья,
весенние росинки на листках?
Какой ещё расцвет вам в будущем назначен,
и сколько надо влаги и тепла,
чтоб вы могли забыть, как холоден и мрачен
теперешний ваш вид, обугленных дотла?

Скрипят они в ответ: «Мы многого не ищем,
мы, знающие жизнь, признаемся тебе:
лишь тот оценит хлеб, кто был когда-то нищим,
лишь тот поймёт покой, кто утомлён в борьбе...»
Они совсем как мы. Прожив почти полвека,
я наконец прозрел от слепоты
и увидел в природе человека
природы окружающей черты...

Кленовые листки летят поодиночке,
похожи на земле на маленьких ежат,
прожившие свой век от почки и до точки,
сползаются к ногам, от холода дрожат.
Сначала только горсть, потом уже охапка,
а за полночь листвой засыпан целый сквер,
и сам я тут стою под лиственной шапкой
на стыке двух миров, на грани близких вер.

Но, чу! Как будто звук в другом конце аллеи,
плывёт сквозь мир теней живое существо:
шуршит плащом, поёт... Навстречу ей, смелее!
Ночная – для тебя, иначе – для кого?!
Прошла.... Да как прошла! Не вздрогнув, не заметив,
как будто бы ты тень, осыпавшийся куст,
и долго доносил осенний стылый ветер
щемящее «цок-цок» да бедных листьев хруст.
Прошла она близка, как собственный твой локоть,
прошла, сметая тени на пути, –
так может ночью петь, шуршать плащом и цокать
любимица судьбы, прости же ей, прости...

...Огни приглушены сгустившимся туманом,
ушла в чужие сны Полярная звезда.
Настала черед притворства и обмана,
людей, дневных теней настала череда...

РЫНОК

Не пишется, не пьётся, не поётся,
и всё-таки пишу, пою и пью.
Гляжу на дно забытого колодца
и собственную душу узнаю.

А по ночам отдёргиваю шторы,
и лунные лучи, ложась на стол,
безжалостные, словно кредиторы,
бракуют и бракуют мой глагол.

Но, горд, как лорд, и кроток, словно инок,
я заново сплетаю кружева,
сегодня на земле и в небе рынок,
а мой товар – слова, слова, слова...

ТЕНЬ

За мною тень, изломанна, сутула,
мой верный страж, эскорт или конвой,
встаёт, когда и я встаю со стула,
ползёт или качает головой.

Мой алтер эго солнцем избалован:
с восходом тощ, а в полдень он кургуз,
поверь ему, так я ковёрный клоун,
хоть надевай бубенчатый картуз.

...Сегодня я заметил не впервые,
что тень моя не любит темноты...

А сам я обретаю тeneвые,
не очень-то приятные черты.

ПЕГАС

Никогда не участвовал в рубке лозы
и на скачках не брал дорогие призы.
Если даже на прикуп ложились тузы,
их легко побивали шестёркой,
в поездах и бараках от стужи дрожа,
неприкаянный в царстве блатного ножа,
не юлил, не темнил, не терял куража,
пробавляясь последнею коркой.

Обокраден судьбой среди белого дня,
я не мог бы полцарства отдать за коня...
Но не ведаю, кто надоумил меня,
что ничем не приманишь Пегаса –
ни серебряной сбруей, ни мерой овса,
что нездешних препятствий лежит полоса –
ни взойти, ни взлететь, ни воздвигнуть леса
в бирюзовые кущи Парнаса.

СТРОЧКА

Н. Алешкову

По всей России Выгонки да Слободы,
Стрелецкие, Посадские, Ряды,
повсюду одинаковые хлопоты,
привычные заботы и труды.

Иконы да рассолы огуречные –
кабак и церковь жалует народ,
но это повседневное и вечное
сам Бог святой водой не разольёт.

Шуршат столетья спицами вязальными,
скрипит, скрипит вселенская кровать, –
народу наплевать на наши заумы,
и вообще – народу наплевать...

И всё же эта жизнь однообразная
у каждого отдельная, своя.
Все, кто живет, страдая или празднуя,
достойны строчки в Книге Бытия.

НАШ ДОМ

Ген. Александрову

Краюха с таким,
вёрсты с гаком,
ночлег под сереньким стожком,
но оттого горюч и лаком
дорожный посох с посошком.

Мы в этом мире вроде пугал:
из века в век,
из рода в род
всё ищем тридесятый угол,
а вечность переходим вброд.

С какой торжественностью отчей,
под звон каких колоколов
подвёл под звёздный купол Зодчий
наш дом – пространство без углов?..

МЕСИМ ГЛИНУ

*Памяти
Марии Ивановны Пегаревой*

Месим глину, месим глину
от темна и до темна,
прожигает солнце спину,
кружит голову луна –
лепим дом из самана.

Глина чмокает и вязнет,
на ногах у нас пуды,
от воды, речной и грязной,
цыпки, пролежней следы.

Кольке восемь, Шурке десять,
мне четырнадцати нет,
как измерить или взвесить
наши тридцать общих лет?..

На обед – к реке, к трамплину,
там тырлуются стада,
пастушата месят глину,
оголяясь без стыда.

Боком-скоком, пузом-юзом
в воду шмякаем тела,
брызги радужным огузом
долетают до села.

И опять мы месим глину,
снова делаем саман,
и уже наполовину –
сенцы, горница, чулан...

ПЛИТА

Руины в степном городище
всегда навевают тщету.
Вселенская нива – кладбище,
плита попирает плиту.

Старинные фиты и яти,
проросшие мхом и травой, –
кем был он, истец благодати,
забытый народной молвой?

Вокруг ни родных, ни знакомых,
ни ближних, ни дальних, увы!
Лишь ветер да рой насекомых
в июльских владеньях травы.

Всё – мимо и всякое – мимо...
Под музыку пчел и шмелей –
судьба Персеполя и Рима
и тайна пастушьих яслей.

А станет ли наша эпоха
с кичливою славой своей
навозом для чертополоха,
нектаром для пчёл и шмелей?

ЗИМА

Под Новый год подводятся итоги,
тусуются вершки и корешки,
играют в конфетти земные боги
беспечно и азартно, как в снежки.

А мне судьба – карманы наизнанку! –
преподнесёт в подарочном мешке
бутылку с джинном, скатерть-самобранку,
жар-птицу в клетке, щуку на крючке...

Надеждой не по чину награждённый,
не жду от жизни сказочных щедрот,
а за окном снежок новорождённый
идёт себе, идёт себе, идёт...

ПОТОП

Утихомирились метели,
и поздний март, входя в азарт,
нащупал музыку капели,
как струны пробующий бард.

Апрель запел, и у проталин
пышнее облака сугроб,
к земле оттаявшей притален,
сгорел и сотворил потоп.

И понесло... гнилые доски
и обветшалые мосты,
и дружно сбросили берёзки
лохмотья старой бересты.

ТЮЛЬПАНЫ

Скупая Чуйская долина
с кремнистой выжженной душой
тюльпаны щедро нам дарила,
морила вшой и анашой.

Сорняк забытых огородов
и нераспаханных полей,
тифозный жар, угар природы –
тюльпаны в памяти моей.

Во все четыре горизонта
кумач раскинул письма:
«Всё для Победы! Всё для фронта!»
Война – воистину красна...

ГОЛУБЯТНИКИ

Памяти Вл. Найдёнова

Не копыеносцы и не латники
в забвенье канувших веков –
пропали в нетях голубятники
с послевоенных чердаков.

И те кепчонки приבלатнённые,
тельняшки, фиксы, брюки-клевш,
и те бабёнки забубённые
в прическах «стриженный Гаврош».

Они, расхристанные, рыскали
по птичьим рынкам и дворам,
они всходили, эти рыцари,
на голубятню, точно в храм.

На чердаке, присев на корточки,
прикармливали голубей
тем отоваренным на карточки
пайком из чёрных отрубей.

Я вспоминаю с умилением,
что кодекс чести был в чести,
но не считалось преступлением
чужую пару увести.

Но если урка или прихвостень,
не удостоясь чердака,
вдруг улюлюканьем и присвистом
шарахал стаю в облака,

внизу разборки были бурными –
кастеты, финские ножи,
а в небе дутыши и турманы
закладывали виражи.

И слаще не было, наверное,
для нас, бездомной ребятни,
чем их высокое доверие:
– А ну-ка, малый, шугани!

ЛАПТА

На выгоне, на выгоне,
на выбитой траве
голодной и зашмыганной
нет удержу братве.

Конаешься, конаешься,
мухлюешь на счету,
как в прорубь, окунаешься
в жестокую лапту.

Пространство ограничено
и замкнуто, хоть плачь,
а я, как намагниченный,
притягиваю мяч.

Лечу, лечу, как молния,
зигзагами лечу,
пролезть в ушко игольное
хочу назло мячу...

ЗАВОДЬ

Эта сонная заводь –
день открытых дверей,
здесь учился я плавать
и удить пескарей.

Здесь я отроком грешным,
сговорясь с камышом,
подглядел, как потешно
ты прошла нагишом.

Я забыл твоё имя,
но шуршит между строк
под ступнями твоими
раскалённый песок.

Афродита выходит из пены,
и троянский красавчик Парис,
похититель спартанской Елены,
на коленях вручает ей приз.
Одиссей ослепляет Циклопа,
я Прокрусту даю укорот,
на Итаке скорбит Пенелопа,
полотно целомудрия ткёт.

Эту дряхлую книжку с картинками
уступил мне узбек за гроши,
прохоря обернулись ботинками
да кисетом смурной анаши.

За окном мавзолеей Улутбека,
за окном обложной звездопад,
на меня, как на древнего грека,
свысока эти звёзды глядят.
Надышавшись моим марафетом,
смотрят сны и сопят пацаны,
не приученные к конфетам,
беспризорники, дети войны.

Я не сплю. Я наказан заслуженно –
напросился под кайфом в «буру»,
пролетел и остался без ужина
и к утру с голодухи помру...
Отскрипели, отпели сапожки...
Вместо этой безумной травы
запросить бы в придачу лепёшки,
пахлавы или даже халвы!

Козырными глаголами крою
ремеслуху, войну, и нужду,
и Афины, и бедную Троию,
и Акрополь, и Шах-И-Зинду!

Антигона с несчастным Эдипом
не излечат меня от тоски, –
как мне завтра знакомиться с ДИПом,
зажимать заготовки в тиски?

Припогашены окна столовой,
но на кухне от лампы светло.
Что нектар? Мне бы каши перловой,
Боже! Сделай, чтоб мне повезло!
Как противно стрекочут цикады,
как надрывно режут ишаки!
Гур-Эмир надвигает аркады,
обнажает мечетей клинки.

...Постучу, и Маруся-раздатчица
спросит: – Кто там? – откинёт крючок,
рассмеётся, как будто расплатится:
– Проигрался опять, дурачок?

В белой блузке и в белом переднике,
черноброва, грудаста, смугла,
хрипловато мурлыкает: – Бедненький! –
наливает борща из котла.

Говорят, она девка шалавая,
у неё кладовщик, военрук...
Нет! Она безотказная, слабая
в этом мире смертей и разлук...

Даже древние боги с богинями –
никаких ахиллесовых пят! –
обжираются пловом и дынями
и от скуки со смертными спят.
Доброта – это ад и чистилище,
и кричу я с надрывом: – Марусь!
Ты не плачь, вот закончу училище,
подрасту и – ей-богу! – женюсь!

Я во сне ослепляю Циклопа
Тамерлановым гнутым клинком.
Мне двенадцать. Моя Пенелопа
Обнимается с кладовщиком.



КОРНИ
И КРОНА

1999



ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ

В. Самарину

Проходные дворы беспризорного детства,
безнадёжной орлянки, бесславной буры...
Если негде приткнуться и некуда деться, –
проходные дворы, проходные дворы.

Дровяные сараи, углы, закоулки,
голубятни, подвалы, верёвки с бельём,
ржавый жмых, самогон, кукурузные булки
и разборки и дружбы с домашним жульём.

...С коммунальными схватками из-за обмылка,
в чадном запахе примуса, в приторном духе греха,
где, обритая наголо, послетифозная Милка
увела у родимой мамыши её жениха.

Там свистели литые ремённые бляхи,
моряки под полундру со шпаной «толковали за жисть»,
а военный патруль в суматохе и чуть ли не в страхе
то грозил трибуналом, то просто просил разойтись.

В проходных процветали бандитские хазы,
банковала малина до самой зари,
и по крышам – куда там тебе верхолазы! –
уходили в отрыв от ментов скокари.

Там скрипели, насытившись ваксой, блатные сапожки,
правил бал марафет и подначивал хмель,
отшвырнув костыли, отрешась от плаксивой гармошки,
инвалиды войны заползали на вдовью постель.

Всё, что было там шито, и крыто, и брито,
провалилось в безвременье, в тартарары,
только в старом кино отбивает свой ритм «Риорита»
да вразвалку плывут в никуда проходные дворы.

МИРАЖ

Восточный фронт
цветочный Самарканд
к Победе нацепил
свой красный бант.

Кружился пух
над радугой воды,
цвели вокруг
урючные сады.

И, салютуя
мёртвым и живым,
ревел карнай
с оркестром духовым.

И подпирали небо,
как всегда,
сам Гур-Эмир,
сама Шахи-Зинда.

А эта женщина,
безбожно хохоча,
сияла жемчугом
в тени карагача.

Платочек комкая,
струилась, точно ртуть,
сквозь блузку тонкую
просвечивала грудь.

Плясала чёлочка,
зачёркивая лоб,
а туфли-лодочки
выщёлкивали дробь.

И приклатнённая
компания парней,
как зачумлённая,
стояла перед ней.

Не зная похоти,
я видел только страсть
в крошечном хохоте,
в игре зелёных глаз.

Журчал арык
по розовым камням,
а я стоял,
завидуя парням...

А было мне тогда
двенадцать лет,
и я не знал,
что счастья в мире нет:

Триумф Победы,
женщины кураж –
всё отойдет,
исчезнет, как мираж...

АРБОВОЗ

В зеркало прошлого смотрим любовней,
слаще бездомье, чем сытый уют.
...Флюгер трещит над саманной воловней,
ласточки гнёзда под стрехами вьют.

Едем за сеном. На небе ни тучки.
Сухо скрипит полевая арба.
Серый курай да верблюжьки колючки,
Азия – наша судьба.

У арбовоза воловье терпенье,
вялые возгласы «цоб» да «цобе»,
злой самосад, заунывное пенье,
мысли и чувства – в себе...

С ранней весны в гимнастёрке и кепке,
крученный, вроде степного дрючка,
выжженный солнцем, мосластый и крепкий,
сын семиреченского казака.

«Горькая линия», «Горькая линия» –
русский заслон от кочующих орд.
Чёрные кони, околыши синие,
выправка – царский эскорт!

(Что бы его откровения значили –
время страшнее стихий моровых:
не расказачили, так раскулачили,
поубивали на двух мировых.)

Ни тебе жалоб, ни бабьих истерик,
всё добровольно – налог и заём...
Я походил у него в подмастерьях,
жизнь за налыгач тянули вдвоём.

Жёлтая степь, солончак, суховеи,
в сизой дали снеговые хребты,
стайки сайгаков, фаланги и змеи,
беркут, пикирующий с высоты.

Трудно поверить, что где-то оазис
поят тьянь-шаньские льды и снега.
Едем туда, где природа в экстазе –
хлопок, табак, золотые стога...

РОЗАРИЙ

Л. С. Колодяжной

Мы многое из памяти стираем –
такой вот избирательный склероз...
Назад тому полвека за сараем
сажали мы кусты тянь-шаньских роз.

Наш скотный двор был вымощен навозом,
по щиколотку жижа – не пройти,
но как вольготно было майским розам
на прошлогоднем гумусе цвести!

В отборной матерщине, в женском визге,
где царствуют побои, голод, страх,
росистых капель розовые брызги
сияли на раскрытых лепестках.

Они так отрешённо, ровно пахли,
послевоенным бедам вопреки,
и розовый нектар из каждой капли
выцеживали пчёлы и жуки.

Мы ими торговали на базаре –
валялся в стельку пьяный скотный двор...
Тот разорённый, проданный розарий
я помню и жалею до сих пор.

МАСТЕРА

Виктору Потанину

Шарманщик, трубочист или тряпишник,
точильщик или чистильщик сапог,
придите к нам из тех времён давнишних,
когда любой из вас был полубог!

Я вижу их, корявых, груболицых,
с весёлой сумасшедшинкой в глазах,
в фуфайках и потёртых рукавицах,
в передниках, в халатах, в картузах.

В истоке детства, в солнечной излучке –
телеги и точильные станки...
Когда тебе, как в сказке, прямо в руки
ныряют рыболовные крючки...

Тряпишник! За старинный хлам и ветошь
тебе не жаль свистульки и волчка,
надев очки, ты «зайчиками» светишь,
кто сослепу сойдёт с того крючка?!

Станок искрит, трясётся с жутким визгом,
точильщик усмехается: – Не тронь...
А ты, мальчишка, искрами обрызган,
под пляшущий брусок съешь ладонь...

А чистильщик! А уличный сапожник!
Ты приглядишься к нему из-за плеча:
какой уж там ремесленник – художник!
С повадкой и сноровкой циркача!

Они всегда в порядке и в ударе,
они и есть твой двор, твоя страна, –
о запах кожи, ржавчины и гари!
О дух махорки, пота и вина!..

Я многое забыл или отбросил,
но, если жизнь не ноша, а игра,
мой прикуп – мастера ручных ремёсел,
волшебных сновидений мастера!

ФАЛЬСТАРТ

Как хочется думать, что время не знает фальстартов!
Но, ради приличий во все геликоны трубя,
эпоха хоронит своих трубадуров и бардов,
не зная, что в поисках жанра хоронит себя.

Источатся камни надгробий, осыплются ноты и
забудет привыкший к фальстартам компьютерный
мир,
что жили когда-то на голой земле кустари-одиночки –
Сократ, Леонардо и Моцарт, Гомер и Шекспир...

НОСТАЛЬГИЯ

Зае... Заели мелочёвки...
Споткнулось Время на бегу
о наши тосты и ночёвки
в тайге, на пристани, в стогу...

Любые вехи – просто вешки,
пока на жизнь глядишь в упор,
стреляют в небо головешки –
и звёзды падают в костёр!

...Мы жили – души нараспашку,
легко, азартно, горячо,
теперь – стучим по деревяшке,
теперь – плюём через плечо.

Теперь – копим на всякий случай
и оставляем про запас, –
неужто мы ничем не лучше,
чем те, которые до нас?

Запасы юности несметны:
надежды, бицепсы, умы!
...Так, может, мы ещё и смертны?
Другие – да, но мы-то, мы?!

БЕЛОГОРЬЕ

В предисловии к сумеркам – медленным, длинным –
корочанский, окутанный дымкою сад,
меловые дороги, размытые ливнем,
опрокинутый в тёплые лужи закат.

Томаровка... Борисовка с лесом на Ворскле,
слобода богомазов и «Домик Петра»,
всё, что рядом, поблизости, около, возле,
светит, греет, слезит, как дымок от костра.

Тишина, от которой дрожат перепонки,
заливные луга и затоны Донца,
безымянный мальчишка в большой плоскодонке,
с вечной удочкой, с тонким лицом мудреца...

ПРОСТО ОДНАЖДЫ

С поздней каплей капризного марта
в воздухе пахнет древесной корой,
тесной становится школьная парта,
класс лихорадит любовной игрой.

Двойки, прогулы, уроки не учатся,
бедный учитель, престиж не роняй:
дать нагоняй – ничего не получится,
разве природе дают нагоняй?

Просто однажды надвинется сырость,
станет снежок перепархивать в дождь,
в стареньких ботиках, в шубке навыворот
ты на свиданье впервые придёшь.

...Будут и слёзы, и клятвы, и ревность,
но разговор не о том, не о том,
всё это там, где кончается верность,
всё это там и потом...

ВО СНЕ

Во сне услышал тайный возглас –
одно из тех внезапных слов –
и полетел, утратив возраст,
на молодой звенящий зов.

И лёгкий шаг, и ломкий голос –
я всё припомнил и узнал,
и я летел, утратив гордость,
я догонял, но не догнал...

Проснулся, горестный и жалкий,
и так досадно стало мне,
что эти злые догонялки
не возбраняются во сне...

ОТЧУЖДЕНИЕ

На глухом азиатском перроне,
где равнина встаёт на дыбы,
ты себя потерял, проворонил,
не вскочил на запятки судьбы.

Спохватился – бежать бесполезно,
злые рельсы в рулон не свернуть,
и умчался на запад железный,
отчуждаемый скоростью путь.

Растворился в окрестном народе,
вдалеке от родной колеи,
и растаяли в смуглой природе
белобрысы слёзы твои.

БОМЖ

Попросил прикурить у бомжа,
он смутился на долю минутки,
а потом, суетясь и дрожа,
протянул мне бычок самокрутки.

И, потешно тряхнув головой,
он как будто на миг возгордился:
дескать, видишь, браток, я живой,
я кому-то ещё пригодился!..

ЛИШНИЙ

Сад возле старого дома,
дача в черте городской:
яблонь цветущих истома,
пчёлы, прохлада, покой.

Сказочный столик под вишней –
тёплый тесовый горбыль.
...Я – посторонний и лишний,
вот в чём сермяжная быль...

ПРИГОВОР

Старинное забытое кладбище.
Источенные временем кресты.
В бурьяне сиротливый ветер свищет –
вот память доблести, добра и красоты.

Мы до конца с собой не откровенны,
а опыт поколений не для нас,
нам кажется, что вечно будут вены
звенеть и наполняться, как сейчас.

Один своё спасенье ищет в вере,
другому доказательства нужны,
но что поделать – все мы к высшей мере
самой природой приговорены.

И жаловаться некому – природа
сама предназначению верна,
она инстинктом продолженья рода
к бессмертью рода приговорена.

ВЁРСТЫ

А.П. Колодяжному

«Только вёрсты полосаты попадаютя одне».

А.С. Пушкин

Верстовые столбы-полосатики,
полустанки, посты, палисадники.
Безразмерные вёрсты судьбы
набекрень, на авось, на кабы...

С арестантами и погорельцами,
с поголовьями серых солдат
стонут шпалы, распятые рельсами,
да столетья на стыках стучат.

Города с их блажными затеями,
вавилонские башни столиц
по лесам и болотам затеряны,
как зрочки меж таёжных ресниц.

О Россия! За что тебя ввергнули
в летаргический сон наяву?
Заблудилась в пространстве и времени,
задохнулась в бездомном «ау!».

УПАЛ В ТРАВУ

Упал в траву и обнял землю,
и мне пригрезилось во сне,
что я и чувствую, и внемлю,
как бродят соки в глубине.

Земли божественное сусло
бурлит и рвётся из котлов
и делит собственное русло
на миллионы рукавов.

Там, в океане превращений,
в гигантском тигле бытия,
берут свой старт глупец и гений,
библейский голубь и змея...

РОДНИК

Анатолию Третьякову

Вы видели на Орлике родник?
Вы пили из него живую воду?
Откуда он тут взялся, как возник,
вписался в нашу мирную природу?

Прильни к нему и жажду утоли!
Совсем как в заповедных райских кущах,
источник, ключ, глубинный сок земли,
бесплатный эликсир для всех живущих.

Земля и небо, твердь и облака –
мы все родня, мы все одной породы.
Как близко мы живём от родника,
как далеко ушли мы от природы...

ВДОХНОВЕНИЕ

*«Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда...»*

Анна Ахматова

За окнами пейзаж
такой, что я не против:
две мусорки, гараж,
«Пивбар» гудит напротив.

Прекрасный матерьял!
А я, тоской издёрган,
как будто потерял
творящий песни орган.

Сижу, угрюмый сыч,
тасую кучу вздора...
И вдруг раздался клич
небесного суфлёра!

И, Боже ты мой Бог!
Воистину, как в сказке,
возникли стиль, и слог,
и запахи, и краски...

Разросся птичий гам,
нектар пролился в травы, –
не орган, а оргán
гремит во все октавы!

Сбегаю на крыльцо,
кричу прохожим: – Здравсьеге!
И, словно снёс яйцо,
кудахтаю от счастья!

СТЕПЬ

Запах полыни и мяты –
степь распласталась и спит,
в травах, росой примятых,
след лошадиных копыт.

Травы, цветы, горизонты,
суслики, пчѣлы, шмели
да валуны-мастодонты
где-то в далѣкой дали.

Коршун, восходом разбужен,
верит в своё торжество,
а человек здесь не нужен,
жизнь хороша без него.

ВЕСНА

Грассируя, в овраг бежит ручей,
и жаворонок теплится в лазури,
и можно верить гомону грачей –
с весною всё в порядке, всё в ажуре!

Весна идёт, и солнце входит в раж,
зелёного апреля шевелюра
готова нацепить цветной плюмаж:
небесный дар – земная синекура...

А на реке работают вальки.
Привычно опускаясь на закорки,
под музыку речной скороговорки
колотят бабы мужнины портки.

Они в запале женского труда
красны от ледяной кипящей крупки,
настырно пробирается вода
под их свободно задранные юбки.

И тут же на «питейной» слободе –
весёлая у Орлика соседка! –
барахтается трактор в борозде,
кудахчет, как тяжёлая наседка.

Гремит вальками свежая весна,
бросает в землю солнечное семя.
Есть у людей века и времена,
а у природы – время, просто время.

ЗОВ

Зарёй погашена гнилушка,
день набирает аппетит,
лениво счёт ведет кукушка,
призывно пеночка свистит.

Как второгодник по тетради,
бреду по росам напрямик,
весна при полном при параде
преобразила мир в цветник.

Из тёмных зарослей черёмух
рулады сыплют соловьи,
а в хороводе насекомых
баском солируют шмели.

Когда леса, поля и воды
так первозданно хороши,
в себе я слышу зов природы –
залог бессмертия души...

КАМЕНЬ

Вечерний небосвод перечертил
осиротевший межпланетный камень,
он был согрет дыханием светил,
а я посмел схватить его руками.

Я с ним провёл часы на пустыре,
огнём пришельца душу согревая,
но он исчез, истаял на заре,
и с той поры душа как неживая.

Земная жизнь светла и хороша,
пока живёшь надеждами и снами.
Зачем нам знать, что в камне есть душа,
что небо и над нами, и под нами?

ЛУННАЯ НОЧЬ

Сергею Ташкову

Ночь оккупирована луной,
мир до рассвета замер.
Мой карандаш – туз козырной,
время сдавать экзамен.

Пусть мне воздаст по моим делам
лунная панорама.
Звёзды подсвечивают куполам
близкого небу храма.

Я утопил в глубине зрачков
свет бересты берёз.
Стройно поют мириады сверчков
гимн мириадам звёзд.

Я прислонился к сосне спиной
и приписал в тиши
ночь, оккупированную луной,
к летописи души.

АНОНИМ

Есть мир исчисленных планет,
туманностей и звёзд,
а ты одна из тех комет,
что тянут звёздный хвост.

Твои туманности внутри,
они не сочтены,
ты зажигаешь фонари
от солнца и луны.

А я всё тот же аноним,
ничто или никто,
неотличим и заменим,
как плащ или пальто.

Я не могу сойти с поста,
назначенного мне,
где шум дождя и дрожь листа
в крадучей тишине.

Созвездья тянутся в гараж,
им не сойти с орбит,
рассвет берёт на abordаж
земной презренный быт.

СМОТРЕТЬ НА ЗВЁЗДЫ

Соседи сверху пляшут надо мной,
соседи снизу плачут подо мной,
тревожно спят за правою стеной
и горько пьют за левою стеной.

Унылый скрип кроватей, плач детей,
пустые клятвы, пьяные раздоры –
копилка человеческих страстей,
набор чудес из ящика Пандоры.

И так – из года в год, из века в век,
и так – из поколения в поколение
в оковы быта забран человек,
почти как бездуховное творенье.

Но это люди, люди возвели,
презрев родные стены и хламиды,
висячие сады Семирамиды,
и Парфенон, и церковь на Нерли!

Мой зыбкий разум с сердцем не в ладу,
я самоед, я сам себя тираню:
мучительно ищу свою звезду,
найду – и легкомысленно теряю.

Могу смотреть на звёзды без конца,
их вечные мерцания и блики –
бич гордеца, смирение мудреца
и посрамленье грозного владыки.

Единственный на свете эликсир,
необходимый смертному, как воздух, –
смотрю на звёзды, думаю о звёздах,
и в мой мирок впадает звёздный мир.

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

В глубине задремавшей России,
где раскольничьи гнёзда в скитах,
ах, как пелось-скрипелось гусиным
в тех осенних ночах при свечах!

Что готовит судьба – неизвестно...
Пушкин в Болдине. Пушкин в тоске,
потому что невеста прелестна,
потому что невеста в Москве.

Потому что вокруг карантины,
ни оказий, ни прочих вестей, –
выпить чаю, задёрнуть гардины
да созвать в свою келью гостей.

Пелерины, плащи и камзолы,
звон мечей и блистанье кирас,
серенады и клятвы – глаголы
всех времён, и наречий, и рас...

Пушкин плачет, поёт и смеётся,
сыплет яд, соблазняет и лжёт,
сам себе и Сальери, и Моцарт,
сам себе Дон-Жуан, Дон-Кихот...

Так в плену смертоносной холеры
осенил его осень Господь,
так летейские сны и химеры
обретали обличье и плоть!

... В глубине задремавшей России,
где раскольничьи гнёзда в скитах,
ах, как пелось-скрипелось гусиным
в тех осенних ночах при свечах!

ДОЖДЬ*Лиде*

От Павловска до Царского Села
мы топали по лужам терпеливо,
в полдневном небе радуга цвела
и туча вызревала, точно слива.

Июньский дождик шлёпал по воде,
шуршал в траве, шумел в аллеях парка,
и что-то было в пушкинском дожде
дороже царскосельского подарка...

Дождь занавесил царские пруды,
лицейский сад, дворец Екатерины,
в наплывы, в брызги, в крапины воды
упрятались пейзажи и картины.

И кучка музыкантов в париках
стояла в галерее Камерона
с пюпитрами и с дудками в руках,
нисколько не рискуя сбиться с тона.

В гармонии оркестра и дождя
была давно разгаданная тайна:
на поводу у вечности идя,
струились ноты Моцарта и Гайдна.

Почтенные туристы подошли
и, расточая щедрые улыбки,
скупые кроны, тощие рубли
оставили в футляре из-под скрипки.

Какой восторг почувствовали мы,
когда вблизи лицейской колыбели
внезапно поднялась завеса тьмы,
а лужи и пруды заголубели!

Природа вмиг порядок навела:
на сотни верст открылась панорама,
и в золото оделись купола
распахнутого пушкинского храма!

ВАН ГОГ

Праздный дьявол в извечной игре
поселяет нам в души соблазны –
от прогулки в тюремном дворе
до спирального шабаша плазмы...

Бог завистлив, на то он и Бог!
От хозяина молний и радуг
человеку, который Ван Гог,
кисть безумца вручают в награду.

Чтобы жил в многоцветном бреду,
сострадавая цветам и старухам,
и астральную слушал звезду
абсолютным космическим ухом.

ЗВОН ТЕТИВЫ

I. СТРЕЛА

Жизнью сваренный вкрутую,
как пасхальное яйцо,
я живу, а не бытую,
глядя времени в лицо.

Пусть судьба, пожав плечами,
говорит: – Иду на вы!
Всё равно стрела в колчане
жаждет звона тетивы!

II. КУПИДОН

Купидон, распахни свои крылья, –
хватит прятать себя в нафталин!
Перелётных гусей эскадрилья
прямо в небо вбивает свой клин.

Солнце брызжет цветными лучами,
а людские сердца таковы,
что стрела Купидона в колчане
жаждет пляски под звон тетивы!

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Солнце гнездится в зелёной воде –
в сотнях морщинистых луж,
стая скворцов искупалась в дожде,
мокрый полёт неуклюж.

Город шумит, от озона хмельной,
а на окраинах тишь,
зеленю, крашенной голубизной,
каплет с деревьев и крыш.

Люди скользят, на работу спеша,
в брызгах от солнечных луж,
с майской грозой народилась душа
в мире потерянных душ.

ВОРОН

Ворон, чёрный и могучий,
улучив удобный случай,
изменил свою судьбу –
взял да вылетел в трубу!
Проходя огонь и дым,
стал он сизым и седым.

Над поляной пролетая,
глядь-поглядь – родная стая,
воронёных воронят
мамы с папами бранят:
– Вот вам белая ворона...
Не жилось ему у трона,
на развесистом дубу,
взял да вылетел в трубу.
Проходя огонь и дым,
стал он сизым и седым.

Отвечает ворон грубо:
– Подгнивают корни дуба,
и почти уже дотла
крону молния сожгла!

Как раскаркались вороны:
– Нам-то что до мёртвой кроны?!
Пусть идёт трухлявый дуб
хоть на пепел, хоть на сруб...
Молодой, здоровый клён
станет тронном для ворон!

ТРЯСИНА

Бездонная, бездомная вода
приваживает лебедя и крякву,
а люди пробираются сюда
заготавливать морошку или клюкву.

Болото пузырится и пыхтит,
озон воюет с сероводородом,
и как всю эту жуть не запретит
хозяйка всякой нечисти – природа?

Подышишь этим воздухом часок,
и что ни кочка – то кулак, то фига...
А зазевайся – влезет в туюсок
болотная красавица – шишига!

Дождаться темноты – не жди добра,
здесь даже в полдень всё подвластно мраку,
болото, словно чёрная дыра,
заглатывает свет в свою клоаку.

Здесь дважды два утопнуть, утонуть,
но так и манит сукиного сына
по кочкам эту жуть перемахнуть! –
Душа – судьба – болотная тряпина...

АГАТ

Однажды в бухте Коктебеля
нашёл я редкостный агат
и возмечтал, как тот Емеля,
что буду славен и богат.

Его прожилки и вкрапленья
играли радугой внутри,
то был природный перл творенья,
осколок плазмы и зари.

Все любовались им в восторге,
лаская, славили его,
и он от тех словесных оргий
своё утратил волшебство.

Он превратился в круглый камень,
случайно выплывший со дна,
из тех, которые веками
катает глупая волна.

А я в бесцветных буднях быта
себе вернул свои права,
чтоб у разбитого корыта
искать волшебные слова.

СЛОВА

Лебяжье. Лебединка. Лебедянь...
Издревле наши реки и озёра,
приветливо открытые для взора,
с разбуженных сердец взимали дань.

В глухой чащобе, в пустоши степной
природа родила на свет полотна,
где лебедь легкопенной белизной
соперничает с лилией болотной.

И человек, во власти естества,
задолго до кресала и мотыги
искал в окрестном мире, а не в книге
летающие, как лебеди, слова.

КУСТ СИРЕНИ

Куст сирени над Окой
светит – ночью видно.
Не тревожь ты мой покой,
как тебе не стыдно!

Боже правый! Боже мой!
Кустик, самый-самый,
отпусти меня домой,
проводи до мамы...

Сизый куст дымит в ответ,
отвечает «самый»:
– У поэта дома нет,
нету, милый, мамы...

ОТБОР

Как люди одиноки – кто бы знал!
Все знают, да не любят сознаваться:
в итоге – смерть, нас ждёт один финал,
в итоге – ни проклятий, ни оваций...

В природе совершается отбор,
наш мир ещё порядочно запутан,
в любую непонятную минуту
и обо мне, возможно, вспыхнет спор.

Кто знает, подхожу я или нет,
кто в мире может взвесить «за» и «против»?
Скорей всего, случайный жребий бросив,
случайный жизнь получит и ответ.

Случайностей не скинешь со счетов,
порою и они закономерны,
как запах маттиолы в час вечерний,
но я готов, я ко всему готов.

В тисках судьбы, по правде говоря,
я сам себе служу противовесом,
и, может, потому сейчас над лесом
луна мне светит вместо фонаря...

НАРАСХВАТ

Вл. Молчанову

Попутчики внушают мне доверье,
но я его ищу на стороне:
все травы, все цветы и все деревья
цветут и разрастаются во мне.

Всё нарасхват – мосты и виадуки,
и если миром правит красота,
то вот она, в полуденной излучке,
под радугой висячего моста.

В тени ракит разбросанное стадо,
и белые головки пастушат,
и краткий, из-под липы палисада,
призывный и лукавый женский взгляд.

...На мне песок и голубая глина,
я на телят бзикующих кричу,
с крутого самодельного трамплина,
раскинув руки, ласточкой лечу.

Соседи пьют и падают на стыках,
и я подозреваю иногда,
что время и само не вяжет лыка,
летит из ниоткуда в никуда...

МЭТР

Меня вчера назвали мэтром –
я написал десяток книг...
Но, как листок, гонимый ветром,
и нерадивый ученик,
я отдал душу километрам,
а тайны жизни не постиг.

Уже не годы, а години
мне предстоит испить до дна:
не мёд, а вязкие вошины,
плевелы с привкусом зерна.
...Но как обманчивы морщины,
как театральна седина!

ПЯТНА

Снились мне пятна, цветные текущие пятна.
Люди, деревья и птицы в обличье бесформенных
масс.

Переплетаясь, сливаясь и снова делясь многократно,
двигались полчища охр, берлинских лазурей
и радужных клякс.

Мозг буксовал, словно известь забила протоки,
дикий хаос мириадами щупалец рылся в душе,
русло цветистого сна вбирало ручьи и притоки, –
вдруг всё обуглилось, всё обесцветилось, стало
клише...

– Бомбы! – вскричал я, объятый цветным озареньем.
– Тромбы, – бесцветно и хрипло сказал кровоток.
Тут я проснулся и, птичьим подхваченный пенем,
праздно, как жаркий подсолнух, направил радар
на восток.

Ничто не вечно под луной,
да и сама луна не вечна,
бредёшь дорогою земной
или путём несёшься Млечным...

Пока первично бытиё,
пока струятся воды Леты,
не зачерпнуть ли из неё
горсть медяков на сигареты?..

ОСЕНЬ

От рассвета до бархатной темени
приземляются листьев рои.
Что природе до Смутного времени?
У неё исчисленья свои.

Перед осенью впору расшаркаться –
одаряет досыта и впрок,
зависая над клумбою бархатцев,
поздний шмель собирает оброк.

Паутиной опутанный тоненькой,
закрывает сезон листопад,
вся округа пропахла антоновкой,
словно город не город, а сад.

СЕНТЯБРЬ

Мне не по нраву мгла чащобы.
Пусть разгоняют хмури и хмарь
древесный запах высшей пробы
и рощи лиственный янтарь.

Сентябрь не месяц – время года,
и по нему плывут, шурша,
моя осенняя природа,
моя осенняя душа.

ВЗАЙМЫ

Октябрь, а солнце как в июле,
ни облачка, ни ветерка.
Неужто лето нам вернули?!
Нет, одолжили на пока.

Так иногда в седые годы,
отодвигая власть зимы,
даётся милостью природы
вторая молодость займы.

Но, чтоб душа не надломилась,
как в половодье зыбкий мост,
мы эту щедрость, эту милость
пускаем по ветру, вразнос...

Напластовались сугробы буден,
пределы тела душе тесны,
как будто больше уже не будет
на свете праздника и весны.

Богослуженье в старинном храме,
сырые стены – приют святых.
Поставить свечку – избыть дарами
своё безверье, свой грешный стих.

Твой праздник прожит, и храм твой заперт,
чужой молитвой не проживёшь,
душа, как нищий, ползёт на паперть
просить надежды истёртый грош.

РЕТУШЬ

Как эти лица постарели,
как омертвела их душа!
Вчера достойны акварели,
сегодня – лишь карандаша.

Набросит ретушь паутину,
размоет профиль и анфас, –
на полновесную картину
никто не вытянул из нас...

ОРФЕЙ

Соловей – из семейства воробьиных

Расстилаясь руладами шёлковыми,
соловей – прирождённый солист,
то насвистывая, то нащёлкывая,
сам себя вызывает «на бис».

Неожиданный, дерзкий, невиданный,
диссидент, воробьиный Орфей,
он природу, как девку на выданье,
привораживал страстью своей!

Забывая высокое прозвище,
он растрачивал душу за всех
безголосых и серых сородичей,
искупая их призрачный грех.

ДЕВЧОНКИ

«Ах, ножки, ножки, где вы ныне...»

А. С. Пушкин

Ах, ножки, тонкие, как спички,
и расплетённые косички...

Скакалки, банки из-под ваксы,
веснушки – солнечные кляксы...

Ах, капризули и растрёпы!
Елены, Федры, Пенелопы...

Ещё до слов, ещё до встреч
живут в игре воображенья
глухая речь и зыбких плеч
как бы невольное сближенье.

Но, устремив глаза в глаза
и до предела сблизив лица,
вдруг удаляется гроза,
так и не в силах разразиться...

ПЕКАРНЯ (Из поэмы)

В горестном краю зыбучих засух,
в азиатском каменном углу,
злые ветры носят хлебный запах
по всему дунганскому селу.

Суховой в своих заботах бранных
не забыл о пашнях и садах,
русский Бог не властен в чуждых странах,
к чужакам немилостив Аллах.

Госпиталь с артелью инвалидов,
фабрика табачная, детдом...
Сотни ссыльных всех родов и видов,
занятых единственным трудом:

где и как снискать свой хлеб насущный –
заработать, выменять, украсть?
Каждый человек, свой крест несущий,
должен усмирять больную страсть:

корочкой продрать сухое горло,
мякушкой набить пустынный рот!
Сколько тут от тифа перемёрло,
сколько тут от голода помрёт...

Хлеб – икона, хлеб – всему мерило,
ниже хлеба – Сталин и война.
Солнце – разъярённое Ярило,
с влагой жизни выпиты до дна

страхи перед местными властями,
пережитки чести и стыда,
тут живут не чувствами – страстями,
голод – вместо Страшного суда...

Бабы-молодухи из пекарни
носят крепдешин и креп-жоржет,
все наштукатурены – шикарны,
будто и войны на свете нет.

Там и марафет, и спирт, и сахар,
там всегда заквашены чаны,
и у каждой свой мордатый хахаль,
бронью защищённый от войны.

Тяжкие тесовые ворота
да с колючей проволокой забор,
страхолодных стражей полурота
и собак-овчарок полон двор.

...Кто её поджег однажды ночью,
кто свершил возмездие над ней?!
Довелось увидеть мне воочью
тот пожар, он в памяти видней...

На моей теперешней ладони
пламенем объятый хлебный рай:
с грохотом взрываются бидоны,
полыхают стены, как курай...

Матицы, поддоны, переборки
с гулом, с треском, с гроздьями огня
рушатся во двор и на задворки,
но никто не просит: «Чур меня!»

Весь народ, разбуженный пожаром,
страху и рассудку вопреки,
бегает по складам и амбарам,
вынося буханки и мешки.

Хлебный двор и всё, что было рядом,
в пепел обратилось до утра, –
помню нашу мстительную радость,
наше горемычное «ура!».



ИНОЕ
ЦАРСТВО



2002

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ**Венок сонетов***Игорю Чернухину***I**

Опять от каждого куста
весенний дух и запах почек,
раскованность и суета –
день после долгой зимней ночи.

Голубизна и чернота,
земли и неба чёткий почерк,
и свет, и тень, но между строчек
размытой радуги цвета.

Постигнуть целое и часть,
зайти за грань и не упасть,
связать с безумством осторожность.

И ты приемлешь эту власть
от птичьей жизни заполошной
и от канавы придорожной.

II

И от канавы придорожной
до проплывающей звезды
всё нитью связано тревожной,
и от всего следы, следы...

Великим будь или ничтожным,
твои метанья и труды
впадают в русло той страды,
связуя будущее с прошлым.

И если призван в мир текучий
не тучей, не звездой падучей,
к тебе вызывает красота.

Закономерность или случай,
душа чиста, как береста,
во всем такая простота!

III

Во всём такая простота!
Везде, где дух провидит омут,
полёты зыбкого моста
возводят к берегу крутому.

Так верующий во Христа
таит неверия истому,
построив дом, бежит из дому,
как будто совесть нечиста.

А за стеной идут часы,
ложатся гири на весы,
жизнь «не авось» в игре картёжной.

Ты не минуешь полосы,
где жажда веры непреложной, –
и манит дух такой тревожный.

IV

И манит дух такой тревожный,
что ты готов оставить кров,
лететь и плыть без подорожной
по воле призрачных ветров.

С мечтой, подругой ненадёжной,
покуда молод и здоров,
каких не принял ты даров
в песках пустынь, во мгле таёжной?!

Судьба – клубок хитросплетений:
людей, созвездий и растений.
Где глубина – там высота!

Жаль отрываться не от тени,
как ящерице от хвоста,
но – от бумажного листа.

V

Но от бумажного листа,
из безнадёжности в надежду
тебя бросает неспроста
туда, где над, и под, и между...

Цветистый сон или мечта
сомкнут уста, сокроют вежды,
а чёрно-белый мир невежды
замкнётся, узкий, как тщета.

Грачи, побеги камыша
ложатся в след карандаша –
усталый, зыбкий, неотложный.

Плоть восстаёт, скорбит душа,
от этой каторги безбожной
освободиться невозможно.

VI

Освободиться невозможно
от наслоений и основ,
переплетённых многосложно
в наплыве запахов и снов.

Ты под личиною вельможной
увидишь фирменных лгунов
и прописных говорунов,
пленённых мудростью подложной.

По хворостинке, словно грач,
свивать гнездо своих удач,
по паутинке – лист чертёжный.

Перемежая смех и плач,
благословляя корм подножный,
корпишь, как в камере острожной.

VII

Корпишь, как в камере острожной.
Любая келья – твой дворец.
Ты летописец осторожный,
ты мифологии творец.

Души растратчик неплатёжный,
алхимик, скоморох, игрец,
плетёшь венки, а твой венец
пылится тряпкою рогожной.

Какие сны перед рассветом!
Куда как просто в мире этом
тянуть мелодию с листа.
Светить неотражённым светом
повелевает красота
от колыбели до креста.

VIII

От колыбели до креста
не сотвори себе кумира:
равнина солнцем залита,
в чащобе пасмурно и сыро.
Не по велению перста –
по вдохновению транжира
все миражи, все страсти мира
стоят в затылок у холста.
Твоей судьбой, врагом и другом,
ягнёнком, облаком и лугом
тебе предъявлены счета.
И под пером или под плугом
сияет пашни чернота.
Все в мире заняты места.

IX

Все в мире заняты места.
И, чтобы миром причаститься,
в травинку, в облако, в клеста
ты должен перевоплотиться.
Вгрызаться червем в глубь пласта,
ползти, как мох, лететь, как птица.
В купели слова опростится
и блеск дворца, и тьма скита.
Звезда сверлит твоё окно:
спеши, спеши с звеном звено
спаять наитием подкожным.

Ещё судьбе разрешено
пленишь улыбкой осторожной
тебя в застенчивости ложной.

X

Тебя в застенчивости ложной
не обвинить людской молве,
но похвале пустопорожней
не задержаться в голове.

Вглядись во тьму под стать сове,
всевидающей и настороженной:
весенней жаждой омоложена,
страсть пьёт росу в ночной траве.

Как джинн из сказочной бутылки,
ночь, не тая своей ухмылки,
впадает в устья и уста.

Бездонно дно земной копилки,
но для тебя она пуста,
обходит даже доброта.

XI

Обходит даже доброта
своей растительной заботой –
не лицедея и плута,
а благостного рифмоплёта...

Блаженна духа нищета
лжемудреца, лжепатриота,
лягушка в плесени болота
целует лилию в уста...

И, как в пустынном мираже,
как в неумелом витраже,
играют ложные цвета,
межа зияет на меже,
размыла грани пестрота,
и не разгадана черта.

XII

И не разгадана черта,
где дух и плоть смыкают звенья.
Времён и судеб паспорта
склоняют к быту без зазрения.

Но, если жизни полнота
течёт по кронам и кореньям,
поделки тянутся к твореньям
и занимают их места.

Ущербный месяц за окном
расплылся, сделался пятном,
истёк, рассветом уничтоженный.

А ты блуждаешь днём с огнём
меж мыслью правильной и ложной,
между великой и ничтожной.

XIII

Между великой и ничтожной
строкой и хлопаньем шутих
из спектра радуги разложенной
цвета выхватывает стих.

То возведённый, то низложенный,
на троне замыслов своих
теряешь час, но ловишь миг,
шагреню кожаной скукоженный...

Кричит предутренний петух,
и Млечный Путь уже потух,
готова дрогнуть темнота.

Слабеют зрение и слух,
душа не ропщет, занята
судьбой пророка и шута.

XIV

Судьбой пророка и шута
не исчерпать судьбы астральной,
души и плоти маета –
звено в цепи всеобщей тайны.

Так подвенечная фата
ручьём стекает пасторальным,
но отражением зеркальным
блестит могильная плита.

Сближать мгновения с веками,
весенних мыслей ручейками
вливаться в океан листа!

Душа чиста черновиками,
и манит жизни полнота
опять от каждого куста.

XV

Опять от каждого куста
и от канавы придорожной –
во всём такая простота,
и манит дух такой тревожный.

Но от бумажного листа
освободиться невозможно,
корпишь, как в камере острожной,
от колыбели до креста.

Все в мире заняты места.
Тебя в застенчивости ложной
обходит даже доброта.

И не разгадана черта
между великой и ничтожной
судьбой пророка и шута.

ОТРАЖЕНИЯ

Фантазия в форме венка сонетов

Роману Солнцеву

I

Звезда взошла и смотрится в меня,
а я – в неё, выщеживая строки,
собратья – добродетели-пороки –
сгорают в тигле звёздного огня.

Февраль. Одеты в саван зеленыя,
резвятся зимородки и сороки.

Природа на сносях – подходят сроки,
и снег окрашен небом – иссиня.

Весна с меня потребует оброк,
я не сторонник праздных подношений,
ей подарю не лавровый венок,
а свой венок сонетов предвесенний.

Звезда в меня, как в зеркало, глядится,
её приют – небесная столица.

II

Её приют – небесная столица,
она в моем заброшенном углу,
продравшись сквозь космическую мглу,
красуется и пляшет, как актриса.

Её луча крутая биссектриса
с моим углом играет неспроста,
как в Зазеркалье девочка Алиса
с улыбкою чеширского кота.

Небесный луч владеет подсознанием,
вселяет в душу смертного кураж,
имея за плечами звёздный стаж,
нетрудно снизойти к земным созданьям.

Друг друга отражают наши лица,
мой угол – острие земного мыса.

III

Мой угол – острие земного мыса,
но каждая черта и каждый штрих
с пристрастием глядят в себя самих,
как в молодых монашек аббатиса.

Я для звезды подопытная крыса,
луч-скальпель беспощаднее земных
ворочается в тайниках моих
и заставляя грешника открыться.

А внешние и внутренние связи
с пучками встречных мыслей и лучей
то рвутся, то сливаются в экстазе
и пробивают русло, как ручей.

Вбираю блики звёздного огня,
но мы по духу кровная родня.

IV

Но мы по духу кровная родня,
и прежде, чем умру и стану глиной,
мне суждено проплыть перед витриной
созвездий, отражающих меня.

И я плыву, сомненья отстраня.
Так белая кувшинка дружит с тиной,
пресветлый угол храма – с паутиной,
с Ахиллом – бесполезная броня.

А за окном ни света, ни просвета,
метель берёт на приступ города,
природа предъявляет право «вето»,
но будет час – взойдёт моя звезда.

Она взойдёт и вселится в меня,
лучами, точно струнами, звеня.

V

Лучами, точно струнами, звеня,
играет солнце мартовской капелью,
прощаемся с морозом и метелью,
предчувствием весны себя дразня.

Фантазия плетётся, семена,
пора бы соблазниться и постелью,
не то, подобно тяжкому похмелью,
в душе отравя звёздного огня.
В хрустальной вазе веточка мимозы,
букет сухих ромашек от Свапы,
стояли розы, и увяли розы,
в наследство мне оставили шипы.
Мимоза пахнет чем-то изначальным,
не склонна к отношениям вербальным.

VI

Не склонна к отношениям вербальным,
в своё бессмертье верит красота,
она способна с чистого листа
искусственное сделать натуральным.
Все прописные истины банальны,
а все непрописные – без креста,
наш гордый дух – святая простота –
склоняет к обязательствам кабальным.
Но где они, ключи или отмычки,
где право на мазок или строку,
которым луч звезды и пламя спички
даруют крест-костёр еретику?!
Судьба глуха к мотивам пасторальным,
она горит огнём исповедальным.

VII

Она горит огнём исповедальным,
процеживает горы наших книг,
предпочитая непритворный стих
творениям монументальным.
Не претендую быть оригинальным,
не отвергаю истин прописных,
но, отдавая дань кострам астральным,
не грех земному помнить о земных.

Восходит солнце. По моей стене
гуляет зайчик, пойманный пространством,
ползёт по мне, и мечется во мне,
и бередит мой дух непостоянством.

Луч солнца проникает в глубь меня,
пронзительными бликами дразня.

VIII

Пронзительными бликами дразня,
бессонница, исполнена простраций,
в душе рождает цепь ассоциаций,
в глубины подсознания маня.

Но как бледна отдельная струна,
и если ей не вторят Музы Граций,
то лучшая из лучших вариаций
не может воспарить, коснувшись дна.

Природа мне даёт свои уроки,
и остается пара пустикаков –
найти свои единственные строки
в содружестве шипов и лепестков.

Всему свои назначенные сроки,
законы мироздания жестоки.

IX

Законы мироздания жестоки.
Но есть в цепи ущербное звено,
где всё парадоксально смещено:
там дышат добродетелью пороки.

Там иноходь в галоп пускает строки,
там из плевел рождается зерно,
там судеб и времён веретено
нанизывает устья на истоки.

Там каждую весной живое ретро
воскресшего земного бытия
порывом ностальгического ветра
нас возвращает на круги своя.

Но всё проходит, молодость прошла,
для всех один устав, одна шкала.

X

Для всех один устав, одна шкала.
Я не спешу к заутренней молитве,
душа чужда Божественной ловитве:
ни веры, ни безверья – смута, мгла...

Но солнце отрывает от стола,
и в бытовом, давно привычном ритме
я доверяюсь зеркалу и бритве
и выхожу из Пятого угла.

Спасительный бальзам житейской прозы,
когда бросаешь фишку на зеро,
с благословенья Музы и мимозы
я выношу помойное ведро.

А солнце золотит колокола.
Всё сущее глядится в зеркала.

XI

Всё сущее глядится в зеркала,
выискивая вещице приметы,
события, и лица, и предметы
играют роль волшебного стекла.

С Пегасом, закусившим удила,
гарцуют соглядатаи-поэты,
не признавая нормы или сметы, –
им кажется, что в цель летит стрела.

В погоне за нездешним эталоном
они отвергли здешнюю тщету,
не зная, что в колчане Аполлона
все золотые стрелы на счету.

Их токи во всемирном кровотоке,
и всё из отраженья тянет соки.

XII

И всё из отраженья тянет соки:
зрачок сверлит зрачок, звезда – звезду,
вражда рождает новую вражду,
река вбирает в русла все притоки.

Когда судьба берет с нас оброки,
горя презреньем к нашему труду,
нам стыдно выставлять свою нужду,
на вид мы сибариты-лежебоки...

Но разве нам неведома корысть?
В зеркальном отражении страданья
нам чистит и одалживает кисть
Верховный Живописец мирозданья.
В мечте мы завораживаем Лету.
Плету цветок к цветку, сонет к сонету.

XIII

Плету цветок к цветку, сонет к сонету,
и мой неканонический венок
то вольностью развенчивает слог,
то потекает разуму-эстету.

Пегас не подчиняется запрету,
летит и набирает потолок,
так день идёт к закату, ночь – к рассвету,
наитие – природный оселок.

В хрустальной вазе от живых цветов,
их ароматов, абрисов и звонов
осталась вязь иссохших лепестков
да жгутики скукоженных бутонов.

Послушная прощальному обету,
звезда передаёт мне эстафету.

XIV

Звезда передаёт мне эстафету –
угасший луч небесного огня,
и я приемлю дар её, храня,
как нумизмат истёртую монету.

Свою весну подталкивая к лету,
на высохшем асфальте ребяшня
играет в классы, скачет, гомоня,
наперекор зануде-Гидромету.

И эти дети – наше отраженье,
в них прозреваем будущие мы
свои победы или пораженья,
свой звёздный луч среди вселенской тьмы.

Едва дождавшись окончанья дня,
звезда взошла и смотрится в меня.

XV

Звезда взошла и смотрится в меня,
её приют – небесная столица,
мой угол – острие земного мыса,
но мы по духу кровная родня.

Лучами, точно струнами, звеня,
не склонна к отношениям вербальным,
она горит костром исповедальным,
пронзительными бликами дразня.

Законы мироздания жестоки,
для всех один устав, одна шкала,
всё сущее глядится в зеркала,
и всё из отраженья тянет соки.

Плету цветков к цветку, сонет к сонету,
звезда передаёт мне эстафету.



ЗВЕЗДА
УПАЛА

2002



ВО СНЕ И НАЯВУ

Николаю Беляеву

Во сне, словно ангел, летаю, летаю,
да жаль, что к утру опадают крыла,
судьба прохудилась – летаю, летаю,
коряво цыганская пляшет игла.

С годами труднее выкраивать латку,
суровая нитка не лезет в ушко,
во сне наобум попадаю в десятку,
наутро, проснувшись, палю «в молоко».

В соседский карман не залезешь за словом...
Колпак на макушку, котурны к ногам,
по духу Икар, а по жребию клоун,
тянусь в небеса, а тащусь в балаган.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ...*Николаю Алешкову*

Жалость к себе, как змеиное жало,
в сердце своё допустить не могу,
может, судьба моя мне задолжала,
может быть, я перед нею в долгу.

Я не могу, словно древний астролог,
сверить по звёздам земные пути,
я, как геолог, откинувший полог,
встал, чтобы поле своё перейти...

Порхали платья, пахли маттиолы,
стрекозы зависали над водой,
земные и небесные глаголы
стучались в грудь, беременны страдой.

Но ты отринул ангела и чёрта,
ты, как Иван, не помнящий родства,
у будущего занял круг почёта,
а этот долг страшнее воровства.

Тебя слепая сладкая отвага
держала от судьбы на волосок,
но времени безжалостная драга
отсеивала страсти, как песок.

И ты прозрел, ты выплеснул сиротство
в пески пустынь и в пепел курая,
ты опоздал, и пламя первородства
угасло от похлёбки бытия.

УЗЛЫ

Виллю Мустафину

Мудрец придумал колесо.
Природа, как двуликий Янус,
открыв одно своё лицо,
другим в сторону посмеялась.

Приятно с помощью шкалы
жизнь ограничить берегами,
зло выбирает путь стрелы,
добро расходится кругами.

Но жизнь придумала узлы,
природа слишком таровата:
то не совсем остры углы,
то дуги как бы угловаты...

Пока в житейской толчее
решаешь комплекс квадратуры,
тебе готовит бытие
иные зыбкие фигуры...

ПОЛЫНЯ

Закрыв глаза – и время вспять:
колючий снег и стылый ветер,
а мне опять, а мне опять
искать пристанища на свете.

По хрусткой наледи бредёшь,
куда «авось» тебя направит,
а полынья, как финский нож,
в крещенской матовой оправе...

Змеится, манит – спасу нет...
Бежать, бежать, пока не поздно,
на белый свет, на санный след,
на конский храп и визг полозный!

...Судьбе не скажешь: – Отвяжись!
Тут не отрежешь пуповину,
и полынья длиною в жизнь
неотвратимо дышит в спину.



ЛЕБЕДИ
НА
ОРЛИКЕ

2002



ЕЩЁ ЗАИГРЫВАЮ С МУЗОЙ

Лета к суровой прозе клонят...

А. С. Пушкин

Ещё заигрываю с Музой,
отодвигая день и час,
когда я стану ей обузой,
как постаревший ловелас.

Игра – в природе человека,
тасует страсти шар земной,
но я в течение полувека
был верен Музе, ей одной.

Мы накануне расставанья.
Уж не поплакаться ли мне
пусть не в жилетку мирозданья,
а лишь в подол своей жене?!

И всё окончится чудесно:
моя законная жена
своей сопернице небесной
воздаст сторицею сполна!

БЛАЖЬ*Д. Порушкевичу*

Я думал, хозяин творит на глазок
свои чудеса и мистерии,
используя каждый подручный кусок
земной и небесной материи.

Но вот я примерил чужую судьбу –
торчит, выпирает, топорщится,
примерил другую –
ни пяди во лбу,
творение, чуждое творчеству.

Тощая, отбросил внезапную блажь,
и в шкуру мою затрапезную
вернулись сомнения, срывы, кураж,
полёт и паренье над бездною...

Нам от Бога смирение завещано...
Во спасение нашей души
молодая красивая женщина
собирает на церковь гроши.

Ей не в тягость святое стояние.
Все мы грешники, видит Господь.
Сквозь монашье её одеяние
проступает мятежная плоть.

Резвый шаг замедляют прохожие
мужики из базарной толпы,
с похмельными, помятыми рожами
и с чутьём, как у пса на цепи.

А она заливается краскою,
и к груди прижимает лоток,
и косится на них, и украдкою
поправляет свой чёрный платок...

Облака постирали
в небесной купели,
и свои пасторали
пропели капели.

Ветер занят игрой
с потемневшей дубравой,
сладко пахнет корой,
отсыревшей, корявой.

Душу в слух обратив,
замираешь от сходства:
вот он, вечный мотив
на исходе сиротства...

ВЕСНА

Александру Потапову

Давай, зима, на посошок
пригубим мартовской капли!
По свету носится слушок,
что на подлёте птичьи трели.

Весна с грачами на слуху.
Однажды ночью лопнут почки,
проснётся верба, вся в пуху,
и лес в зелёной оторочке.

А этот зябкий березняк
и этот паводок весенний –
вселенский праведный сквозняк
в канун Христова воскресенья.

Две тыщи лет из года в год
дух торжествует над каноном
и каждый праздничный восход
кропит пасхальным перезвоном.

ЦВЕТЫ

Геннадью Тюрину

Когда они всплывают, как тритоны,
когда они ныряют, как нырки,
в телесные не прячутся бутоны
обрызганные влагой лепестки.

Стрекозы, водомеры – всё в их власти,
а серые метёлки камыша
шатаются, как пьяные, от страсти,
цветными испареньями дыша.

А эти воды – зеркало природы,
в него глядятся люди и цветы,
связующие то, что выше моды, –
утерянные звенья красоты.

Терпки запахи и звуки,
воздух светел и упруг,
листопад в цвета разлуки
одевает лес и луг.

Зарумянилась рябина,
и шиповник заалел,
пламя охры и кармина –
натуральный беспредел!

Скоро смолкнут птичьи трели
и природа в свой черёд
золотые акварели
в пышный саван уберёт.

ЗАТМЕНИЕ

В толпе курортников из Крыма
смотрели мы, разинув рты,
как грозно и неотвратимо
шло наступленье темноты.

Пока в хромированных трубах
острил свой разум телескоп,
по кипарисам в душных шубах
прошёл космический озноб.

Когда затмение стало полным,
мне показалось, что на миг
окаменели даже волны,
забыв о вольностях своих.

В минуту тягостного мрака
нас поразил внезапный звук –
завыла жалобно собака
на поднебесный чёрный круг.

Сосед послал её «к монахам»
и этим возгласом исторг
из душ, объятых смутным страхом,
почти языческий восторг.

ДОРОГА

Вл. Ермакову

А мы всё шли, а мы всё ехали,
летели,плыли и ползли...
Столбили призрачными вехами
то край души, то край земли.

От жизни внешней к жизни внутренней
наш крестный путь не освятил
призывный колокол заутренний,
иконостас ночных светил.

Винить ли молодость наивную,
что поступает по наитию –
скользит, но рвётся в облака?
Винить ли зрелость нашу трезвую,
что отвергает путь по лезвию
и хочет жить наверняка?

А Зодиак диктует ходикам,
что нам, спелёнутым холстом,
смирить свой пыл под серым холмиком,
под покосившимся крестом...

СЦЕНА У ФОНТАНА

У Петергофского фонтана
на фоне летнего дождя
они хлебали из стакана,
в кусты от зрителей уйдя.

Мужик в потёмкинском камзоле,
с глазной повязкой, в парике,
не вовсе вышедший из роли,
держал «Столичную» в руке.

К его груди припала дама
в екатерининском венце, —
их заставляла мелодрама
держат улыбку на лице.

А рядом седенький маэстро
в экипировке давних лет,
чуть отдаляясь от оркестра,
сзывал гостей на менюэт.

Сбивался с ритма чинный танец,
краснел маэстро, как школяр,
когда заезжий иностранец
бросал «зелёную» в футляр.

Потом в кустах с весёлым хрустом
жевали свежий огурец,
и ностальгической грустью
дышал сквозь дождь Петродворец...

ТЕАТР

Душа и разум знают цену
самим себе, но вот вопрос:
взойдя на жизненную сцену,
что принимать на ней всерьёз?

Где башмаки, а где котурны,
где языки, а где клинки?
А в добродетели дежурной
злодейства зреют ли ростки?

И если спрятался под маской,
то соответствовать изволь,
но знай, что жизнь не стала сказкой,
что роль – она и в жизни роль.

В порфире Лира или Кира,
держа Вселенную в горсти,
ты не забудь, владыка мира,
в канаве место припасти.

УРОКИ МУЗЫКИ**(Из поэмы)**

Причуды, страсти, праздность гения,
всемирной славы торжество, –
кто знает цену откровения,
надрыв и жертвенность его?!

Всё остается за кулисами,
он в жизни гаер и актёр,
флиртует с венскими актрисами,
играет в карты, мелет вздор...

По-детски плачет и смеётся он,
считает марки, пьёт вино, –
так Моцарт остаётся Моцартом,
ему быть Моцартом дано!

В КУЩАХ

Шелестит карагач над арыком,
прогибается небо от звёзд,
муэдзины с пронзительным криком
по утрам заступают на пост.

Там гуляют стада на джайляу,
и медлительный зоркий киргиз
ест форелей и пьёт на халяву
натуральный кобылий кумыс.

Там гнездятся фаланги и змеи,
там в пустынном и горном краю,
где от века свистят суховеи,
мы оставили юность свою.

...Два початка в кизячном подзоле
и над ними сиреневый дым,
за арыком, на клеверном поле,
мы в цветах, точно в куцах, сидим.

ДЕВОЧКА

Нос облуплен, коленки ободраны,
сыплет звоном с обветренных губ,
скачет, пляшет и узкими бёдрами,
словно в цирке, творит хула-хуп.

Но внезапно становится скованной,
будто в ней назревает гроза, –
и косят, и косят васильковые,
увлажнённые страстью глаза...

Дремлют лилии в озёрах,
спят степные пауки,
суховея сонный шорох
шелушит солончаки.

...Велики глаза у страха –
слёзы, стоны, шёпот, смех...
А луна, ночная сваха,
осеняет первый грех.

Просыпаются стрекозы,
богомолы и жуки,
по степи белеют козы –
оренбургские платки.

Звёзды в зареве зачахли,
поседели кураи,
и бессмертником пропахли
губы жаркие твои.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Сошёл, растаял первый снег
там, между школою и садом,
для всех растаял без помех,
лишь мы, заснеженные, рядом.

Метёт, заносит колею,
швыряет щедрую охапку
на шубку чёрную твою
и на мальчишескую шапку.

Сквозь эти хлопья белизны
ты всё белее, ты всё дальше,
приди ко мне из той страны,
где нет ни горечи, ни фальши.

Где я с потерянным лицом,
как уличённый в страсти инок,
всё не могу понять, о чём
по снегу пишет твой ботинок.

Приди без тех позднейших слёз –
переиначивать не будем, –
так безоглядно, так всерьёз,
как только смерть приходит к людям!..

ЩЕНОК

И вновь припомнилась мне ты
и то, чему уж нет возврата.
На зыбкий свет из темноты
я пробирался воровато.
Тогда акация цвела,
был палисадник за спиною,
в окно я видел часть стола
с крахмальной скатертью льняною.
Там обгоревший фитилёк
семилинейной дутой лампы
отбрасывал на потолок
вещей расплывчатые штампы.
А рядом с лампой, на столе,
стояла гроздь в хрустальной вазе,
она светилась в полумгле,
как будто таяла в экстазе.

Там, у босых прекрасных ног,
терзая кружево рубашки,
вертелся увалень-щенок,
чистопородный сын дворяжки.
Как я завидовал щенку
с его бесхитростной забавой!
...Зачем храню свою тоску,
давно остывший, трезвый, здравый?..
Я даже верую тайком,
что в череде реинкарнаций
смогу побыть её щенком
и гроздью грезящих акаций...

ЭХО

Николаю Алешкову

Голос первой любви – нашей юности эхо,
расстоянья и годы ему не помеха.

Потому что от века в душе человека
есть своя фонотека, своя фонотека...

И её голоса, подголоски и вздохи
не дано заглушить громогласной эпохе.

Потому что под сердцем проросшее семя
попадает в иное пространство и время...

КАБЛУЧКИ

Полночный говор каблучков –
не то, что шаркающий ропот:
звериный блеск, и дрожь зрачков,
и молодой победный рокот!

Спокойный, стройный перестук,
не допускающий огласки,
стыдливый, сдержанный, – и вдруг
подробный, дробный, в ритме пляски!

МЫ ИГРАЛИ...

Институтские спортсмены,
бокс, гимнастика, пинг-понг,
стадионы и арены,
страстный рёв, бесстрастный гонг...

Мы питались по талонам
(их давали в сентябре)
в диетической столовой
при Донском монастыре.

И хотя в тарелке супа
отражался день за днём
репрессированный купол,
мы не думали о нём.

В каждом хуке и подборе
нам светил победный тост,
мы не знали, что подворье
монастырское – погост...

Это здесь, в святых пределах,
не в романах, не в кино, –
здесь расстреливали белых
и монахов заодно.

Жаль, не вынести за скобку:
не за то, чтоб грудь в крестах, –
мы играли за похлёбку,
мы играли на костях...

ЗАБЫТЫЕ

*Памяти
Марии Леонтьевны Бочарниковой*

Камыш на речке шепчется спросонок,
за речкой «пить-полоть!» – перепела,
мычит, мычит на выгоне телёнок,
но, кажется, деревня умерла.
В пустых коробках ветер воет глухо,
терзает крыши, треплет лопухи,
на лавочке забытая старуха
всё ждёт приезда сына и снохи.
Она в фуфайке, в ичихах, в платочке,
но, старческим страданиям вопреки,
её душа под пеплом оболочки
сквозит в глазах, как в поле васильки.

Изба присела. В пояс у забора
взошла на перегное лебеда,
куда ни глянь, везде следы разора,
забвенья и напрасного труда.
Облезлый кочет кур топтать не хочет,
пёс от тоски издох в конце концов,
лишь под застрехой ласточка хлопочет,
выхаживая голеньких птенцов.

В сырой избе на стенке кривобокой
желтеет под стеклом полсотни лет
как бы преданье старины глубокой –
аж довоенный свадебный портрет.
Подстриженный в кружок, «под Пугачёва»,
жених зажат, как впавший в забытьё,
на ней фата, а красная понёва
чуть держится на бёдрах у неё.

Хозяин был от скуки на все руки,
по случаю и плотник, и печник,
да сам и стал причиною разлуки –
любитель заложить за воротник...
Потом сынка и дочку схоронила,
при ней осталось трое из пяти,
три холмика, как общая могила,
тут, за селом, но ей уж не дойти.
...То трудодень, а то сдавай скотину...
Крутилась... век чужого не брала...
Ещё спасибо младшенькому сыну
кой-как образование дала!

Пора бы паутину снять с божницы,
да и поставить свечку бы туда,
да принести водицы из криницы,
а то в ведре застояна вода.
Будь у неё хоть малая силёнка,
она бы дотащилась не спеша
да отвязала с колышка телёнка,
небось, живая, Божия душа.
В её душе ни горечи, ни злости.
Недаром пташки в окна-то стучат,
даст Бог, вот-вот свои приедут в гости,
а то истосковалась без внучат.
В самой избе есть что-то от старухи,
и есть в старухе что-то от избы,
как сёстры, доживают вековухи
в деревне, на обочине судьбы.



ВРЕМЯ
2005



ЗА ЧЕРТОЙ НЕВЕЗЕНИЯ

С пожилыми геранями
надоело беседовать
и потёмками ранними
на бессонницу сетовать.

Всё давно перечитано,
всё давно передумано –
ничего нарочитого
и ни грана безумного.

...С перестуками поезда
и с гудками призывными
ветер взвояет напористо
и замрёт над озимыми.

За чертой невезения,
за вагонными окнами
перелески весенние
с чернозёмами мокрыми.

Может, что-то получится
сердцу молодо-зелено,
мне судьба не попутчица
за чертой невезения.

ВЕСНА

Город чистый и чинный,
но, куда ни пойдёшь,
оглушает грачиный
самочинный галдёж.

Выпивоха и грешник,
похмелившись чуть свет,
прибивает скворечник
нелюдимый сосед.

Снова тяпки и грабли,
дачный сад-огород,
и, судьбою ограблен,
веселеет народ.

В золотой панораме
майский звон синевы
и дымы над кострами
прошлогодней ботвы.

ЧЕРЁМУХОВЫ ХОЛОДА

Хрустит ледок на майских лужах,
недалеко и до беды,
опять арктическая стужа
ожгла расцветшие сады.

В укор и в пику неудаче
в оранжерее и на даче
дежурят люди, жгут костры,
ночные запахи остры.

В природе тоже всё не просто,
всему свой час, своя страда,
и у весны болезни роста –
черёмуховы холода.

СИРЕНЬ

В.Н. Алфееву

На пустырях, в садах и вдоль дорог
она царит свободно и беспечно,
неприхотлива, как чертополох,
как Золушка в наряде подвенечном.

Отрада городов и деревень,
всегда живая, праздничная гостья,
раскинулась, развесилась сирень,
к прохожему протягивая гроздья.

Как будто просит: – Рви меня, ломай!
Одаривая мною мир окрестный,
не забывай, что будет новый май,
я расцвету, я заново воскресну!..

БЕЖИН ЛУГ

Памяти А.К. Филатова

Я не бывал на Бежином лугу,
но он со школьных лет запал мне в душу,
я, как своё родное, берегу
ночной костёр, и «бящу», и Павлушу.

И тот внезапный, тот ознобный звук
из чрева ночи или ниоткуда,
исторгнутый нечаянно и вдруг, –
природы потаённая причуда.

Мне тоже доводилось на заре,
когда сполохи теплятся в затонах,
картошки, испечённые в золе,
как угли, перекатывать в ладонях.

По лугу разносилось «хруп» да «хруп» –
овсяница не мёртвая зелёнка –
пофыркиванье влажных конских губ
и топкий в травах топот жеребёнка...

ЧТО В НАШЕЙ ДОЛЕ?

От верхового, верховного шума
плещущих в роще белёсых берёз
плёс охватила глубокая дума,
юзом скосило стрижей и стрекоз.

Вздыбилась отмелей рыжая пена,
в небо взметнул легкокрылый борей,
солнечный запах привядшего сена,
бисерный пот пожилых косарей.

Ночью природа не так таровата,
чуть отпускает земные бразды,
лишь акварельные пятна заката
шлют эстафету до ранней звёзды.

В поздние годы, в годы невзгоды
выход единственный, выход простой –
снять хоть на время у доброй природы
угол смиренья и встать на постой.

Что в нашей воле? Что в нашей доле?
Брезжит закатный рассеянный свет.
Звёздное небо. Хлебное поле.
Росной тропинки петляющий след.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Памяти Е.И. Носова

Судьбой проверенные связи
былых и нынешних времён:
штыри и кольца коновязи
и журавля скрипучий склон.

И конюх, черпающий воду
разбухшим серым черпаком
и наполняющий колоду
привычным дедовским плеском.

Мужик в застиранной рубаше,
в кирзовых жматых сапогах,
его размеренные взмахи,
цигарка – вспышками впотьмах.

И в сбруе, словно в портупее,
в наклоне выпятив крестец,
с лебязьи выгнутою шейей
его каурый жеребец...

ПОЛНОЛУНЬЕ

Муза, резвая болтунья...

А.С. Пушкин

Бессонница, откуда ты взялась,
неужто Муза, резвая болтунья,
присвоила себе чужую власть –
магическую силу полнолунья?

На стыках спотыкается трамвай,
устал искрить – уходит в парк троллейбус.
Судьба мне шепчет: – Рот не разевай
на лунный каравай, – и я колеблюсь.

Когда судьба играет в поддавки
и можно щёлкать пешки, как орешки,
охотно принимаю за зевки
фортуны потаённые усмешки.

Орешек полнолунья не разгрызть
наплывом пионерского задора –
нужна простая мастерская кисть
да шепоток небесного суфлёра.

... Я в чём-то виноват, не знаю, в чём,
покоя ни на миг не обретаю,
поговорить бы с лечащим врачом,
пропишет по-латыни «таблеттае»...

Я для него типичный идиот,
и он, согласно книжным заморочкам,
то пальцем перед носом поведёт,
то простучит колени молоточком.

Стучи, стучи, любезный эскулап,
дородностью ты вышел в три обхвата,
пить чистый спирт и лопать эскалоп
не возбраняет клятва Гиппократа.

...Пора переходить на бег трусцой.
Дразня окрестных Бобиков и Рексов,
я сделаюсь вальяжным, с хитрецей,
лишённым лунатических рефлексов.

Ну а пока на кухонном столе
сомнения и страхи вне закона,
встаю и говорю: – Парад алле! –
фантомным персонажам лексикона.

Над лунным диском звёздные рои,
как пчёлы над цветущей летней липой,
являет нам достоинства свои
небесный образец рекламных клипов.

А здесь – парад унылых фонарей,
котельная, окутанная паром,
ватага перепившихся парней
с разборкой у дверей ночного бара.

В окне напротив брезжит огонёк,
сосед сбивает пепел с сигареты.
Держись, лунатик! Ты не одинок
в психической мистерии планеты.

Кто б ни был ты, бессонный мой собрат,
обласканный судьбою или битый,
луна сегодня ловит всех подряд,
сжимая горло собственной орбитой...

ЗЕМЛЯ

Александр Олейникову

Как хорошо, что люди не летают
орлам и Божьим ангелам под стать
и в облаках лишь мысленно витают, –
зато бескрылым есть о чём мечтать!

Куда же мне идти, с какой повинной:
живу, мечтою душу окрыля,
но, связанный с землёю пуповиной,
я сам – земля и разум мой – земля.

В УНИСОН

Прислониться к тополю плечом,
укротить широкое дыханье,
не мечтать, не думать ни о чём,
молча слушать листьев трепыханье.

Вечер зажигает фонари,
мотыльки упрямо бьются в стёкла,
жаркая инверсия зари
нехотя погасла и поблёлкла.

Устоялся звёздный полумрак
нам с бессонным тополем в угоду,
в унисон с растением – только так! –
можно приручить к себе природу.

ОБЫДЕННОСТЬ

Памяти Саши Маслова

Обыденный и горестный момент,
когда, от нашей воли не зависим,
не поднимает трубку абонент
и адресат не шлёт ответных писем.

Он отвергал обыденность, он был
романтик и любимец Аполлона,
полмира охватил размахом крыл
и блудным сыном лёг в земное лоно.

Никто нам в этом мире не судья,
и даже после финишной отмашки
обыденность – царица бытия –
романтика в смиренной рубашке.

ПРОЩАЙ

Над синим морем синяя звезда
мерцает от заката до рассвета.
Прощай! В последний раз я жду ответа.
Прощай! Мы расстаёмся навсегда.

И ты прощай, скрипучий мой причал,
мой друг ночной, качаемый волнами.
Что я здесь пил, кого я здесь встречал,
останется, конечно, между нами.

Тот дробный, тот подробный перестук,
когда, не глядя, чувствуешь спиною
начало новых снов и новых мук,
намытых, словно золото, волною.

И тот несовременный, странный тот,
давно уже забытый нами голос,
что, затаясь до времени, живёт
для одного бессмертного глагола...

ГАДАЛКА

Дочери

Наказала мне гадалка
жить, покуда не помру,
я ей трёшку дал – не жалко
за весёлую игру.

И глазищами своими,
как паук, прошлась по лбу,
угадала моё имя
и грядущую судьбу.

И пошла своей дорогой,
подметая юбкой пыль,
но замешкалась немного
и – поверьте, это быль –

вдруг склонилась, как под ношей:
– У тебя в глазах огонь,
погадай мне, мой хороший! –
и подставила ладонь.

И на этой на ладони
я увидел, как в кино,
луг зелёный, табор, кони,
и костёр, и пляски, но...

Заиграюсь, заколдую,
дрогнет смуглая рука, –
там цыганку молодую
выдают за старика.

Всем на свете сострадаю,
но, провиденьем томим,
сам я больше не гадаю
ни себе и ни другим.

Человек, привычно утомлённый
монотонной сутолокой дня,
крепко спит – безлюбый и влюблённый –
под покровом звёздного огня.

В тайниках, в запасниках сознания,
на дрожащих кончиках ресниц
вспыхивают грёзы и желанья,
как сполохи утренних зарниц.

ИГРУШКИ

Какие смешные игрушки
на праздничной ёлке висят:
зайчата, ежата, пеструшки,
содружество трёх поросят.

Дошкольного возраста чёртик –
Петрушка, а может, Пьеро –
повесил у пояса кортик,
на шляпу – павлинье перо.

Обидно, что Золушки нету,
и принц по просёлку пешком
всё бродит и бродит по свету
с хрустальным её башмачком.

И все в ожидательных позах,
ударят часы – и тотчас
поступит от Деда Мороза
весёлый и важный приказ.

– Ребята, зверята, – он скажет, –
восстаньте из сказочных книг!
И маленький чёртик запляшет
в стеклянных сапожках своих!

Такого ещё не бывало:
в зените ночной тишины
магический шум карнавала
врывается в детские сны.

КИСТЬ И ПЕРО

Живопись – царица искусств.

Леонардо да Винчи

О, великий и могучий русский язык!

И.С. Тургенев

На полотне художника ландшафт
с речушкою, с раkitами, с травкою,
как не испить росы на брудершафт
с какой-нибудь былинкой луговою?!

Завидую, желанья не тая
припасть к соцветьям с жадностью букашки,
чтоб муза прихотливая моя
впитала аромат живой ромашки.

Кисть говорит предметным языком...
Благослови, великий и могучий,
затрепетать осиновым листком,
пролиться грозовой, громовой тучей!

Пусть живопись – царица всех искусств,
с великим Леонардо не поспоришь.
Но стон, но вздох, но шелест грешных уст,
словесный дым – его нектар и горечь?!

КАРТИНА*Ольге Сорокиной*

Живописный портрет, где я вместе с женой
восседаю на фоне далёкого храма,
забирает всё большую власть надо мной –
вот комедия, вот мелодрама!

Театральной овчиной покрыта скамья,
в росной мороси гроздь сирени,
за оврагом скворец на манер соловья –
пересмешник – творит свои трели.

У прилежной художницы быстрая кисть,
чтобы облик наш, беглый и блёклый,
всю прошедшую жизнь, всю грядущую жизнь
обессмертить кармином и охрой.

Уловить и застопорить наши черты
в моментальном, живом, быстротечном,
воскрешая из пепла земной красоты,
мимолётное делая вечным.

Нам на этой картине цвести и цвести,
купиною гореть, не сгорая,
нам дано до себя, молодых, дорости,
не старея и не увядая.

Как он пристально смотрит на мир, мой двойник,
кисть умеет быть животворящей!
Этот дух, что из чрева искусства возник, –
Может, он, а не я настоящий?!

ПУШКИН

В тесной, как пенал, лицейской келье
Пушкин, егоза, француз, сверчок
делят и заботу, и веселье –
шпагу на бок, музу под бочок.

Венценосец смотрит величаво,
фрейлины взирают свысока,
оседлав Пегаса, скачет слава
отроку отсчитывать века.

МОЦАРТ

В. Любичкому

Похороненный в общей могиле,
он лежит меж былинки и трав,
сколько раз эти травы всходили,
суету и забвенья поправ!

Одинокому всюду пустыня,
если верить народной молве.
Небеса благоволят к святыням,
чей престол и обитель в траве.

Человечество занято делом,
цель ясна и задача проста –
дай вкусить ему Божьего тела,
непорочного мяса Христа!

...Он устами ромашек смеётся,
сеет дух из открытой горсти!
Светлый Моцарт, божественный Моцарт!
Ты прости нам, блаженным, прости...

ДУША И ТЕЛО

Как заживают раны в детстве
и шрамы исчезают сами?
А дело в том целебном средстве,
в том чудодейственном бальзаме,

что ты, играя в чёт и нечет,
не ощущаешь жизнь как бремя,
все говорят, что время лечит,
но и калечит тоже время.

Душа не ведает предела
и не стареет год от года,
но ты забыл о том, что тело
тебе взаимно даёт природа.

ИСТОМА

Не мелководе и не омут –
глубинной страсти тишь да гладь,
души природную истому
за целый век не отстрадать.

Всё, что поит её истоки,
ключи и горные хребты,
не знает, что такое сроки
для глубины и высоты...

СУФЛЁР

Мне кто-то диктует, какой-то суфлёр...
Окутав действительность в радужный флёр,
он шепчет, кричит и врывается в сны,
его угнетают четыре стены.
В приюте для муз и обители граций
дрожит горизонт от его декораций.
Трепещут кулисы, трещат драпировки,
сбегаются крысы и божьи коровки,
сшибаются в вихре зерно и полова –
идёт карнавал во владычестве слова.
Над бездной меня по канату ведёт
мой верный тиран, мой суфлёр-кукловод.
И вдруг умолкает мой сказочный джинн,
и я остаюсь в своей келье один.
Венцы и венки исчезают со сцены,
и сами собою сбегаются стены.

ОДНАЖДЫ

Однажды, заглядевшись в небосвод,
подумаешь: «А что всё это значит?» –
и не захочешь дать обратный ход
и, может быть, судьбу переиначить.

Но будешь ли, глотая звёздный дым,
ты им доволен – жребием случайным
и невозможностью открыть другим
твоей душе доверенные тайны?

ОПЯТЬ...

Штурмую азы, буки, веди,
опять восторг, опять тоска,
невывспавшиеся соседи
перстами крутят у виска:

– Опять чуть свет стучит, как дятел,
а ведь под утро самый сон!
А я и вправду будто спятил –
низвергнут, распят, вознесён!

Моя машинка – мой соавтор,
сирень под окнами – суфлёр,
одна привносит трезвый «фактор»,
другая – свой миражный флёр.

Восходит солнце. Скоро пчёлы
слетятся к травам на наряд,
и ласточки, как новосёлы,
в гнезде под стрехой гомонят.

На речке ранний скрип уключин,
стрекозы-модницы снуют,
мир многоцветен, многозвучен,
все музы мира тут как тут!

НЕСКАЗАННОЕ

Опять сижу за письменным столом.
В гранёном хрустале три майских розы,
сухая ветка мартовской мимозы,
воркует дикий голубь за окном.

Но для разминки пару мелочей
зарифмовать, не мудрствуя лукаво:
поросшая крапивою канава,
хозяйственные хлопоты грачей...

Азы весны – поэзии азы.
Окрестный мир окатывают громы,
природа репетицией грозы
по-свойски оmyвает окоёмы.

Ну вот и умиляться бы весной,
дождём, который так сегодня нужен,
весёлый ливень с бульками по лужам,
дотошный – затяжной и обложной.

Прекрасный антураж – лови кураж!
Слепой бросок не требует отваги,
но, как ни заостряю карандаш,
как ни терзаю белый лист бумаги,

не пишется о главном – о любви...
Слова тасую, чёртиков рисую,
о несказанном сказываю всуе
с дурацкой отговоркой – «се ля ви».

Отчаявшись, использую приём
из неприкосновенного запаса:
записываюсь к Музе на приём
и предъявляю шпоры для Пегаса.

МГНОВЕНИЕ

Облака наплывали и таяли,
где-то дождик прошёл стороной,
в камышах, утонувших до талии,
затаился полуденный зной.

На лугу прекратились мычания,
птичьи трели затихли в лесу,
и, как будто в минуте молчания,
даже ветер застыл на весу.

И часами закатное зарево
не решалось зачахнуть во мгле,
и казалось, что снова и заново
зарождается жизнь на земле.

Человек, заболевший беспечностью,
мякоть времени взрезал веслом,
и мгновение, бывшее вечностью,
обезумев, пошло напролом...

ЗАВЯЗЬ

В отцвете яблони и вишни,
но в бело-розовом дыму
пчела несёт нектар гречишный
к родному улью своему.

А ты, какой берёшь ты взяток,
какой завязываешь плод?
О том, что срок цветенья краток,
ты знать не можешь наперёд.

Живёшь ли суетно и праздно,
пусть перебродят – не спеши –
незрелый мёд и яд соблазна
в ячейках страждущей души.

НОЧНЫЕ СТИХИ

...И я решил, что всё потеряно,
что предал друг и ночь темна,
но тут – царевною из терема! –
из тучи выплыла луна.

И осветила даль окрестную,
омыла ближние места
и всё окрасила в небесные,
туманно-звёздные цвета.

И что-то тёмное и мрачное
над бездной пасмурной воды
она преобразила в дачные,
осеребрённые сады.

Бомжи – патриции за ужином
у полуночного костра,
они пропиты и простужены,
нет ни кола и ни двора.

Но как хохочут, окаянные,
на зависть дачникам они,
пусть без мольбы и покаяния –
спаси их, Бог, и сохрани!..

ГРАЦИИ*Лиде*

В подлунном мире правят грации,
природа – мера всех вещей,
мы лишь придумали градации
мелодий, красок и страстей.

Мы в жизни только тем и заняты,
а тополь, листьями шурша,
поёт, не зная нотной грамоты, –
поёт древесная душа.

Волна размеренным гекзаметром
рождает длительность и ритм,
гроза из тучи, павшей замертво,
спектральной радугой горит.

И, соревнуясь с маттиолами,
жасмин струит свой аромат, –
так бессловесными глаголами
цветы, озвученные пчёлами,
между собою говорят.

САД

Николаю Силаеву

I

Художник сад нарисовал.
В его мазках, в его накрапах
листвы янтарный карнавал
и прелой падалицы запах.

Я знаю, много лет назад
ему позировала осень,
но сотворённый кистью сад
с тех пор цветёт и плодоносит.

II

Восточный суховея грозил бедой,
на знойной ноте сутками играя,
мы поливали саженцы водой,
пустыню превращая в кущи рая.

В бараках стариков, сирот и вдов
кто не мечтал о садике родимом?
Во дни черёмуховых холодов
мы деревца окуривали дымом.

И мы росли, и садик с нами рос,
что ни весна, то новые смотрины
цветущих яблонь, и росистых роз,
и непокорных зарослей малины.

Так просветлённо думаем о предках! –
не отпускает яблонева сад:
у каждого в душе – на майских ветках,
цветущих ветках – яблоки висят.

ВСТАНЬ И ИДИ!

Ген. Александрову

Странные есть на земле совпадения:
зная, что ждёт малыша впереди,
мать говорит ему после падения:
– Встань и иди!

Разве не с этой наивною фразою,
фразой естественной, как ни суди,
Бог обратился к умершему Лазарю:
– Встань и иди!?

Даже погрязшему в непогрешимости –
для покаянья нет места в груди –
Бог милосердный поможет в решимости:
– Встань и иди!

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Что происходит? Стылые ветра
с остатками листвы играют в прятки,
и то, что было кроною вчера,
разбросано в багряном беспорядке.

Что происходит? С пригородных дач
везём картошку, лук и помидоры,
и облегчаем бремя неудач,
и забываем летние раздоры.

Что происходит? Вертится земля.
Играем свадьбы, крестим и хороним.
От знойной пирамиды до Кремля
никто не остаётся посторонним.

Что происходит? Пасмурный пейзаж,
осенний дождь припал к пустынным долам,
зачем же мой усталый карандаш
обводит рифмы звёздным ореолом?!

ОСЕННИЕ СТРОФЫ

Зрелой осени прохлада,
запах вянущей травы,
в золотых аллеях сада
отсвет блёклой синевы.

Предрассветный иней в поле,
воздух утренников жгуч
и, как будто поневоле,
сквозь туман сиротский луч.

ТАВОЛЖАНКА*В. Молчанову*

Таволжанка, Таволжанка...
Золотой сосновый бор,
карусельная тарзанка,
самодеятельный хор.

Репетиции, концерты
или танцы под баян,
клуб прописан вместо церкви
пролетариям всех стран.

За оградой сахзавода
перекличка сторожей,
сенокосный луг в разводах,
ловчий промысел стрижей.

Отработал – и на лоно...
Нравы сельские просты:
сахзавод без самогона –
что невеста без фаты.

А теперь всё это свято:
клуб под именем «дворца»,
и тарзанка, и маслята,
и лесные озерца.

Отчего же мне так жалко
тот огонь и этот дым?
Таволжанка, Таволжанка...
Хорошо быть молодым!

ЧАС ПИК

Час пик – все козыри на стол!
Над площадями и полями
полночный запах маттиол,
полночных звёзд живое пламя.

Душа гнездится в небесах
и презирает хлеб насущный,
рассудок – рекрут на часах,
земной потребности крест несущий.

Но наступает новый день,
ночные рушатся обеты,
душа отбрасывает тень,
как все телесные предметы...

ТЕПЕРЬ...*Н.И. Алфеевой*

Стучусь в распахнутую дверь
и спотыкаюсь на пороге,
мне скоро семьдесят – теперь
в тупик ведут мои дороги.

...Но ты живёшь среди людей,
их вождений, их идей,
ты не злодей, не лиходея,
но поневоле лицедей.

Ты должен душу напрягать –
одних хвалить, других ругать,
и с кем-то пить, и с кем-то пить,
и всё терпеть, терпеть, терпеть.

Когда ты врал или не врал,
ты не себя, других играл,
так репетируй же, скорбя,
в урочный час сыграть себя.

ГАСНУТ СВЕЧИ КАШТАНОВ*Дочери*

Отцветает сирень,
передав эстафету жасмину,
гаснут свечи каштанов,
вразлёт мельтешат лепестки.
На подрамник природы
июнь водружает картину,
жизнь летит по прямой,
словно торные тропы строки.

Солнце с тучками спорит –
и кто там кого объегорит?
Одичавший от вольности
ветер с рассветных полей,
помыкая пространством,
без визы врывается в город,
напуская на пух одуванчиков
пух тополей.

Всё в движенье –
природа чужда рефлексии,
вечный двигатель – время –
бесстрастный её демиург.
С подневольным прищуром
смотрю и смотрю на часы я,
неизбежный закон бытия
постигаю не вдруг.

Циферблат, не шутя,
замедляет усталые стрелки,
в унисон спотыкается
ревностный счётчик в груди.
Грех пенять на судьбу.
Время долго с тобою
играло в гляделки, –
с кем ты вздумал тягаться?!
Смирись и глаза отведи...

КУМАЧ

Ширмы, шторы, переборки,
запах йода и касторки,
патефон, тряпичный мяч,
и кумач, кумач, кумач...

Календарная морщина,
новой эры годовщина,
ах, латышские стрелки,
конармейские клинки!

Поздний стук, и детский плач,
и кумач, кумач, кумач...

СТЕРНЯ

Весной вода сошла в овраги,
а суховей разбился в прах,
чтоб не оставить капли влаги
ни в огородах, ни в полях.

Он насылал на мир безмолвный
с его бессмысленным трудом
сухие стрелы синих молний
да холостой трескучий гром.

Стерня послевоенных засух...
Её полынно-горький вкус,
её пырейно-пряный запах,
её сиротски-жёлтый хруст.

Мои чабанские мытарства,
и мой копнитель прицежной,
и трудодни, и бабье царство,
и азиатский адский зной....

А как тогда тянулись годы!
А как теперь летят года!
Стерня, стерня – печаль природы,
судьбы пустынная страда.

ХЛЕБ ДА СОЛЬ*И.В. Александрову*

Память чести не уронит,
если разум не ослеп.
На поддоне, как на троне,
восседал высокий хлеб.

Не крапивный полукровка,
горем призванный во власть, –
безработная вальцовка
до работы дорвалась!

Тут же, справа или слева,
где устроился король,
восседала королева –
крупно молотая соль.

Нёбо мякушкой лаская,
жаркой корочкой хрустя,
зрела радость, да такая,
что поникли мы, грустя.

Так за годы недорода
и бессрочного поста
отдаёт долги природа –
от пелёнки до креста.

ЛЁНЬКА

В пилотке фронтовой,
в трофейной куртке кожаной,
хмельной и разбитной,
небрежный и ухоженный.

Отдельный человек,
войной не искалеченный,
покуривал «Казбек»,
пуская дым колечками.

На весь колхозный двор –
скажу во имя истины –
единственный шофёр
полуторки единственной.

Струилось на току
причёсок пламя рыжее,
и были начеку
глаза его бесстыжие.

– Залётка, не томи...
Ах, Лёнька-Лёня-Лёнечка!
Возьми да обними,
да только так, слегонечко...

– Маруська, не шути,
а то не поздоровится:
мотор на полпути
чихнёт и остановится!

Горчит сухая рожь,
пылит дорога к станции,
бросает в жар и в дрожь
учётчицу с квитанцией...

ХУТОР

Только окна, забитые досками,
только дворик с цветами неброскими,
огород, уходящий к реке,
пёстрый луг да лесок вдалеке...

Вот и всё, что осталось от хутора.
Над горами навоза и мусора
разжиревшие стаи ворон
на крестовом пиру похорон...

ЗАСТАВА*Геннадью Тюрину*

Ночь опускалась, как секира,
срезая гребни южных гор,
и посреди слепого мира
чабанский вспыхивал костёр.

И головешки саксаула,
из тьмы выхватывая пост,
с неукротимым треском, с гулом
швыряли в небо искры звёзд.

Загон – бессонная застава.
И гуртового тёмный лик,
и молодого волкодава
сторожевой гортанный рык.

И в спевке с бляньем и ржаньем
немолчный хор ночных цикад
и, приглушенный расстояньем,
за перевалом – водопад.

И наш ковчег – жилия юрта,
и посреди вселенской тьмы
свечной нагар, и запах курта,
и спёртый, душный дух кошмы.

Лишь просыпаясь на рассвете,
уже не думал я с тоской,
что мы одни на белом свете
и с нас начнётся род людской.

ДУХОВОЙ

В городском саду играет духовой оркестр...

Алексей Фатьянов

В вельветках и военных кителях,
в платочках и заношенных туфлях,
заполняя парки и бульвары,
кружились и отплясывали пары.

И каждый подпевал, как он умел,
«Катюше» и «Смуглянке-молдаванке»,
и мощными литаврами гремел
победный марш «Прощание славянки»!

Торжественней, чем люстры на балах,
луна – всегда в зените! – им светила,
и отражались в медных зеркалах
танцующие звёздные светила.

Давно из моды вышел духовой.
Досадно, что прогресс не знает меры,
Горсад зачах без музыки живой, –
как можно танцевать под скрип «фанеры»?

Да что писать о давних временах?
Какое сердце горечь не затронет,
когда оркестр на похоронах
рыдает, будто сам себя хоронит?!

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

*Памяти
Ивана Корнеевича
Бочарникова –
ветерана трёх войн*

В госпиталях, в артелях инвалидов
свободной территории страны
солдаты всех мастей, родов и видов
встречали окончание войны.

Сняв кителя, халаты и тужурки,
со скрипом выпрямляясь в полный рост,
они сдвигали кружки и мензурки,
с больничным спиртом поднимая тост.

То празднество, сойдясь с печалью острой,
не заглушало памятных утрат,
но жизнь есть жизнь – врачихи и медсёстры
цвели, как май, и были нарасхват!

ВОЙНА

За войсками идут фуражиры –
всех и всяческих войн старожилы.
Без кондёра солдату хана,
а какая война без вина?!

За войсками идут проститутки,
по прохладцу плетутся штабы,
наслаждаясь дымком самокрутки,
ремонтёры сбивают гробы.

За войсками идут мародёры,
пожинают мертвецкий барыш
и бомжи, и могильные воры,
и хозяева банков и бирж.

За войсками идут, за войсками
инженеры, поэты, врачи,
летописцы в обнимку с веками...
Все мы жертвы и все палачи.

ГЕРОЙ

Слава вечная герою
сорока земных колен,
он вчера разрушил Трою,
а сегодня – Карфаген.

И опять пастух и пахарь –
кто останется живой –
поднимают жизнь из праха,
а в семье растёт Герой...

НОСТАЛЬГИЯ ПО СЕВАСТОПОЛЮ

Ленту памяти застопорю
и, по клавишам стуча,
побреду по Севастополю
в ранге бомжа и бича.

...С подгулявшими матросами
и с портовой голытьбой
мы дымили папиросами
по названию «Прибой».

В виноградных палисадниках
под нетрезвый звон гитар
распевали о десантниках,
распевали «Солнцедар».

Жизнь была такой прекрасною:
море, небо, диск луны,
кипарисы над террасою
Корабельной стороны.

Я, беспечный, как растение,
в рифму думал и мычал,
ветер нёс листву осеннюю
с парпетов на причал.

Ожидаемый туристами,
золотистый, словно сон,
швартовался к Графской пристани
теплоход «Абрау-Дюрсо»...

НА КАРАДАГ*Николаю Алешкову*

Захватив вина и фруктов,
мы бредём за шагом шаг
в Сердоликовую бухту
через летний Карадаг.

Солнце жарит, солнце слепит,
но в порывах ветра злых
запах моря, запах степи,
запах осыпей крутых.

Утром змеи греют спины,
и неведомый зверёк,
словно выползень змеиный,
вылезает на припёк.

Сердолик – волшебный камень,
он рождён не просто так,
говорят, что был вулканом
наш смиренный Карадаг.

Это праздник и причуда –
добывать из чрева гор
сердолик – живое чудо,
пить «Мускат» и жечь костёр.

Пальцы в ссадинах, в мозолях,
и с годами всё грустней
хоронить на антресолях
груды радужных камней...

ТЕСЕЙ

Добродетельная Ариадна,
чьим отцом был коварный Минос,
поступила весьма отрадно,
дав Тесею клубок навывнос.

Сей Тесей убил Минотавра,
отвернув ему рог на квинту,
заработал венки из лавра,
пробираясь по лабиринту.

Он отплыл добывать награды
к златорунным брегам Колхиды,
и красотки со всей Эллады
на Тесея имели виды.

Но, когда подравнял Прокруста,
уложив на его же ложе,
стало скучно ему и грустно,
и воскликнул герой: – О, Боже!

Надоели мне кифареды
и прекрасных гетер служенье,
опротивели мне победы,
испытать хочу поражение...

– Не капризничай, мой любимец,
лишь бессмертье – венец карьеры, –
усмехнулся Зевс-олимпиец,
подкаблучник ревнивой Геры.

Победил герой амазонок
и женился на их царице,
но... родится у них ребёнок –
и трагедия сотворится.

На подмостки выходит Федра,
героиня дежурной темы, –
не ищите в шутовском ретро
ни трагедии, ни поэмы...

Будь ты сам Александр Великий,
тешься славой Наполеона, –
золотая награда Ники –
это пропуск в ладью Харона.

СОН (Маленькая поэма)

Сегодня можно с трезвой головой,
с улыбкой рассуждать на эту тему,
любви и страсти хаос мировой
преображая в стройную систему.

...Я засыпаю с именем твоим,
а за окном туман висит клубами,
летят машины, сталкиваясь лбами,
и мы с тобой, размытые, летим.

Неведомо, куда и почему
уносит нас гроза или цунами,
но расстояние в ливневом дыму
не может сократиться между нами.

Я говорю во сне, что это сон,
что я не в силах вынести измора,
но вместо слов из горла только стон,
а вместо пробужденья зыбкий морок.

Я просыпаюсь в дрожи и в поту,
я с целым миром в споре и в разладе,
гляжу на куст сирени в палисаде,
но сон не исчезает на свету...

Бывает так: растёт среди подруг
невзрачная девчонка-привереда,
уходит на каникулы и вдруг
является прекрасная, как Леда.

Ворую взглядом ботики, пальто,
улыбку, жесты, голос и причёску,
их дом, их палисад, собаку Розку,
засаленные карты и лото...

За домом золотой клочок земли,
там, вопреки природе, в огороде
почти весь год подсолнухи цвели,
разнежась в насекомом хороводе.

А что за необычная сирень:
кустистая сиреневая, белая –
цветёт себе и, что-то с нами делая,
цветную тень наводит на плетень!

Напрасно я дежурю под окном,
дружу с твоей покладистой дворняжкой,
твой вещий сон с моим зловещим сном
пытаясь обручить с большой натяжкой...

И что мне райский остров Целебес
и весь подлунный мир на школьной карте,
когда живое чудо из чудес
флиртует не со мной на задней парте?!

Кто не писал стихи в семнадцать лет?
Но вовсе не виной литература...
Кого не завораживал портрет,
двойной портрет Психеи и Амура?

Прошла война – мужчины нарасхват,
есть в их повадках сытая небрежность,
и только я безвинно виноват –
таю в душе томление и нежность.

О нет, я об «интиме» ни гу-гу..
Есть в книге жизни тайная страница –
о ней, о ней в мальчишеском кругу
с невольным придыханьем говорится.

Но строки о возвышенной любви
из книги, что написана природой,
от века растрянжирены людьми,
захватаны, затёрты, стали модой...

...Но сон есть сон... и мы с тобой летим,
и я к тебе тянусь, не прикасаясь, –
я засыпаю с именем твоим
и с именем твоим я просыпаюсь.



ЖУРАВЛИ НЕ ТОЛЬКО
УЛЕТАЮТ

2009



ЖУРАВЛИ НЕ ТОЛЬКО УЛЕТАЮТ

Клином, караваном, вереницей,
вместе от начала до конца,
проплывают медленные птицы, –
задираем головы и лица,
простираем руки и сердца.

Как летят! Привыкнуть невозможно.
В стае облаков белым-белы,
дарят нам печально и тревожно
влажное, гортанное «Курлы...»

Долетят до моря и растают,
но, на радость жителям земли,
журавли не только улетают,
но и прилетают журавли!

Я сказал: научи меня, степь,
дай мне воли и дай мне покоя,
я годами сидел, я ослеп
в безнадежной борьбе со строкою.

И услышал я странный ответ:
– Все дороги ковыльной равнины
упираются в горный хребет,
в океан обрываются синий...

ТАЙНА

Обметаем углы, выметаем
пыль и мусор из тесной избы,
но опять, словно мухи, влетаем
и жужжим в паутине судьбы.

Выбиваем ковры, выбиваем
злую нечисть, гремя и пыля,
в белоснежных холстах выбываем
в ту страну, где сплошная земля...

Если жизнь в этом мире случайна,
отчего этот зов чистоты
и какой они связаны тайной –
жажда плоти и дым красоты?..

СВОБОДА

Свобода так похожа на фантом:
проявится, продлится, исчезает, –
так мощная река, покрывшись льдом,
струится и до дна не промерзает.

Элементарно, Ватсон, жизнь – игра,
а в прикупе свобода – Божья карта –
пригоршня зла под горсточкой добра,
ты сам – и демиург, и раб азарта.

Мираж удач в пустыне неудач,
граница, как всегда, на зыбкой кромке,
а впрочем, ты свободен, как циркач,
ходить по струнке или рвать постромки.

От жажды не спасёт один глоток,
и всё-таки не так уж это плохо,
когда свободы аленький цветок
окажется цветком чертополоха.

По небу журавли летят, трубя,
у них в крови чужие небосводы,
на свете нет свободы от себя,
а значит, никакой иной свободы...

Можно подняться к могиле Волошина,
не затирая чужие следы.
Глянуть – до неба камней наворочено,
вдоволь налито солёной воды.

Камень-гранит неподкупен для золота,
памятный слог лаконичен и строг,
солнцем иссушенный, ветром исколотый,
пахнет бессмертьем степной полынок.

Платьями женщин пестрят виноградники,
жизнью командует местный базар...
Буднями сборщиц оплачены праздники –
пляжи, гостиницы, флирт и загар...

Строчки и краски поэта-художника...
Сдую с ладоней дорожную пыль
и прикоснусь-приклонюсь остороженько,
как прикасается к ветру ковыль.

ПАРТЕНИТ И ВОКРУГ

Прощай, свободная стихия!

А.С. Пушкин

Посёлок по прозванию Партенит,
лежащий у подножья Аю-Дага,
в истории ничем не знаменит,
но не роняет собственного флага.

Я не приемлю местнический зуд,
как ни кичись соседние державы,
едва ли Курск древнее, чем Гурзуф,
любой клочок земли достоин славы.

Одни в ночи созвездия горят,
в моря впадают все речные воды,
берёзка с пальмой мирно говорят
на языке одной природы.

Народ всегда селился у воды,
а впрочем, не последняя затея –
искать истоки, ибо есть следы
в трагедии Эсхила «Орестея».

И пусть гиперборейцы – явный вздор,
но Геродот приводит те же мифы,
свидетельствуя нам, что с давних пор
в степях Тавриды обитали скифы.

И что же, в этот райский уголок,
подобие библейского Эдема,
за все года, за весь античный срок
не заходила ни одна трирема ?

Старик Гомер, знаток чужих морей,
дал маху и оставил под вопросом:
входил ли в эту бухту Одиссей,
сей эллин с вездесущим хитрым носом?

Тут из земли растёт холодный камень,
и с ним народу некогда скучать,
тут научились добрыми руками
бездушный камень к месту приручать...

Прославленные парки Партенита,
розарии, бордюры, цветники –
не детища холодного гранита,
растущие здесь людям вопреки.

Аллеи пальм, аллеи кипарисов,
редчайших даже в Красной книге тиссов,
смолистых горных кедров череда –
содружество природы и труда.

Раскинувшийся в парке санаторий,
бессонная страда и торжество –
всё это море, море, море, море
с неповторимой аурой его!

Здесь люди, отдавая дань привычке
расслабиться, принять врождённый вид,
предавшись добровольной обезличке,
как бы теряют свой природный стыд.

Вольготно распускаем животы –
на пляже ни надзора, ни позора –
и обретаем внешние черты,
мы здесь скорее фауна, чем флора.

Сентябрь – блаженный бархатный сезон!
Вода ещё тепла, и в меру жарко,
как будто до зимы в аллеях парка
складируются солнце и озон.

Морская гладь свободна от оков
и лишь своим подвержена капризам:
то, словно лёгкий лепет лепестков,
щуршание волны под южным бризом,

а то поверх привычных свойских вод
при ясном небе, будто без причины,
волнение и шторм – самозавод,
внезапный бунт разгневанной пучины.

Медведь-гора открыта человеку,
её гранит, её глубинный туф,
тропа ведет к горластому Артеку,
а рядом с ним – прославленный Гурзуф.

«Грот Пушкина» – изустные преданья,
почти готовый рыцарский роман –
здесь назначал любовные свиданья
Раевским-девам юный донжуан!..

А правда в том, что это он впервые
своим пером восславил этот край,
его стихии – волны голубые,
морской Гурзуф, степной Бахчисарай.

«Двух ножек» шаловливая игра,
«взлелеянных в восточной неге»,
аукнется, когда придет пора, –
отсюда начинается «Онегин».

Историк-Пушкин в сонме именитых,
как сам Гомер, Эсхил и Геродот,
но нам пора вернуться к Партениту,
куда тропа Раевского ведёт...

ПОСЛЕ БУРЕЛОМА

В завалах сосен и берёз,
где поработал смерч,
пушистый молодняк пророс,
поправший смертью смерть.

Стволы порушенные спят,
припав к родной земле,
больные выводки опят
пасутся в полумгле.

Кора деревьев, как шелом,
ребриста и крепка,
чтоб не тревожил бурелом
покой молодняка.

Шурша листвою, купаешь грусть
в канаве дождевой
и вдруг увидишь белый груздь,
весёлый и живой!

ЖИЗНЬ

Подобие дворового театра:
грибок, песок, скамейки, детвора,
«Козёл» – фуражки, шляпы, пиво, «Ватра»
и каждое сегодня, как вчера...

Косички, сопли, бантики, качели,
детсадик, школа, армия, семья –
ячейки вековой карусели,
истоптанная жизнью колея...

Учителя, наладчики, шофёры...
Всегда и всюду – жажда перемен,
политика, работа, бабьи споры,
инфаркт, инсульт, процессия, «Шопен»...

МАСКА

На новогоднем карнавале,
где люди маски надевали,
искал я маску для себя,
в себе сомненья истребя.
То ржал я мысленно, то рыкал,
то тело иглами утыкал,
как безобразный дикобраз.
И так я долго горе мыкал,
но вдруг подумал: вот те раз!
Да разве дамся я в упряжку,
да разве съем козу-бедняжку
или кому-то выбью глаз?
И тут я понял – крыть мне нечем,
придётся, видно, в человечьем
обличье встретить Новый год,
авось для праздника сойдёт...
Да где там – стреляные волки,
стуча клыками из-под ёлки,
завыли: ты в своём уме?!
И я затряс бородкой: м-меее...
С тех пор я ангел всепрощенья,
с тех пор я козлик отпущенья –
всё недоеденный хожу
и за собой волков вожу...

«РИОРИТА»

Сколько помню себя, «Риорита» –
неотвязный заморский мотив,
торжество танцевального ритма,
безыскусный и страстный призыв...

Секретарь комсомольской ячейки,
отгесняя послушный народ,
убирает с дороги скамейки
и с девчонкой танцует фокстрот.

Как упорно дробит кастаньеты
патефон на чужом языке,
сотрясая на стенах портреты
в нашем «красном» – святом! – уголке.

Продуктовые карточки, примус,
письма с фронта, но радости нет,
у картошки мороженный привкус
и победная дробь кастаньет!

«Риорита», кумир общежитий,
сельских клубов, столичных дворцов, –
самовольно прописанный житель
в семьях прадедов, дедов, отцов...

Для неё не назначены сроки.
Что ей моды и что ей года?
Всё состарится – джазы и роки,
«Риорита» всегда молода...

СТРУЧКИ

Среди невыжженной ботвы,
совсем как овцы и телята,
паслись мы в поисках жратвы –
послетифозные ребята.

Те прошлогодние стручки
бобов, и сои, и фасоли
похожи были на крючки,
полуистлевшие в подзоле.

Вдруг появлялась ловкость рук,
ты был по-зверски чутким, зорким
и слышал чмокающий звук,
вскрывая слякотные створки.

Наверно, было бы умней
прожарить гниlostные зерна,
но чувство голода сильней,
оно рассудку непокорно.

Сквозь дальнoзоркие очки
при всех бананах и пельменях
я вижу ржавые стручки
и ощущаю дрожь в коленях...

НОЧЬ

Дочери

Ночь с фонарями, с глазницами окон
смыла остатки дневной бирюзы
и размотала свой бархатный кокон
в лужах прошедшей весенней грозы.

Ночь разлеглась, как невеста на ложе,
гроздь сирени провисли фатой,
ночь подытожит, а время низложит
всё, что не смыто грозой и росой.

Жизнь в мирозданье подвластна привычке –
купол искрит, и троллейбус искрит,
по расписанию, как электрички,
перемещается звёздный синклит.

...Молния Зевса, сразив Фэтона,
семенем жизни развеяла прах,
яблоком Евы, Париса, Ньютона,
райской оскомой греха на зубах.

Ева в Эдеме – сама себе сваха,
женскому чреву не писан закон,
только оно и не ведает страха,
только оно перешло Рубикон...

Ночь без Пришествия, ночь без Потопа,
быт совершает вселенский обряд,
больше не ткёт полотно Пенелопа,
нить Ариадны не вьёт шелкопряд.

Как это страшно – закон и порядок!
Плазма не выкипит в звёздном котле,
Марья Иванна над стопкой тетрадок
неотвратима, как ночь на земле.

ПТИЦЫ

На весенние рощи и чащи
прямо с крыльев летящих зарниц
опрокинулся вещей и вящий
звон и гомон разбуженных птиц.

Им внимает и вторит округа,
вся природа потворствует им,
возвратившимся с райского юга
к чернозёмным гнездовьям своим.

Поневоле собьёшься на лепет,
будь хоть тысячу лет городским,
так доверчиво ласточка лепит
свой домик над балконом моим.

РЕМЕСЛО

Вот на закате облако плывёт
и золотится, мимо проплывая,
и ты глядишь на летний небосвод
и зарифмуешь: «Тучка золотая»...

Ты ремеслом владеёшь, как артист
высокого, испытанного класса,
но вот перед тобою чистый лист,
и сам ты перед ним – табула раса.

О, белые одежды бытия!
Поэту к ним опасно прикасаться,
он сам истец и сам себе судья,
и он обязан быть, а не казаться...

Искусственные розы не для нас,
мы топчем землю голыми стопами,
у каждого поэта свой Парнас,
усыпанный цветочными шипами.

Поэтому глядишь на небосвод
или глаза отводишь виновато...
А золотое облако плывёт,
плывёт за горизонт в лучах заката.

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

I

Осень в городе. Я начинал эти строки
в институте Бурденко,
Но диагноз – «инсульт» – запретил мне общение
с профессией.
Впрочем, если профессия ваша имеет название «поэзия»,
То к стихам вы вернётесь в любом состоянии заново...

Осень в городе – можно ль назвать тебя осенью?
Межеумок природы, прогал человечьей души...
Осень в городе – разве инсультник осилит поэму?
Как объять необъятное можно в своём безысходном кругу?
Я могу превратить в мелкотемье любую великую тему,
Но признать поражение своё пред своею душой не смогу.

Осень в городе – это в теперешнем виде
Облик новой вселенной, теряющей смысл бытия.
Даже я, посторонний поэт, пребываю в обиде
Оттого, что свидетель вселенской потери – не я.

Осень в городе, может быть, это впервые
Безвозвратно утерян порядок и вечностью
заданный смысл...

II

Осень в городе, дождь, зарядивший надолго...
И северный ветер, и ливень, и грязь.
Весь народ по домам, лишь один живописец по имени
Ольга
На природе открыто даёт мастер-класс.

Затрапезная шапка-ушанка, фуфайка и старые боты,
Горки масляных красок, размытых дождем.

Осень в городе – это стриптиз уходящего года:
Ни малейших секретов, когда каждый профиль –
размытый анфас,
А транзитная осень диктует грядущей зиме мастер-класс.

Но напрасны твои, календарная осень, потуги,
Потому что зима задержалась в чужой стороне,
Покружись-побесись, обтеши своим ливнем фрамуги
И застынь навсегда, как бесценный подарок, на нашей стене.

III

Осень в городе – тема в мой мозг постучалась внезапно
В институте Бурденко, когда подтвердился инсульт.
Мне хватило остатка рассудка убедиться,
что я ни сегодня, ни завтра
Не смогу предъявить эти странные строки на здоровый,
а стало быть, будущий авторский суд.

Осень в городе. Если есть в этом мире гармонии,
То поэту с художником их испытать не дано,
Потому что в наплыве естественной самоиронии
Им видна только та натуральная осень,
что смотрит в окно.

Осень в городе, словно собравшись с последними силами,
Превращает свой ливень в неверный и робкий снежок,
Но художник себе на уме – не спешит запастись
белилами,
Даже если по случаю спешки творит на глазок.

Осень в городе. Правда, как мы уже раньше заметили,
У него в каждой точке намётанный глаз.
И покорными красками – теми ли, этими –
Будет принят единственно верный приказ.

Осень в городе – что я морочу себе и читателю голову...

IV

Осень в городе длится, но что происходит с природой?
Если осень – преддверье зимы, то куда подевалась зима?

Осень в городе, всё в этом мире согласно традиции
Отработано временем до мелочей...
Только мой трудоголик не сможет собою гордиться,
Ибо каждая клеточка – свежий поток живописных лучей...

Осень в городе – ты уж, дружок, извини меня,
если имя твоё поминаю я всеу,
Посмотри-ка: на небе внезапная синь,
Свежий, острый закат на окраинах лужи рисует
Вместе с тобой осень в городе. Вот и прекрасно! Аминь!

Я не знаю, каким твою внешность доверить глаголам,
Я ведь старый поэт, на себя наложивший запрет,
Знаю точно – талант не бывает беспольем
И управы на эту его ипостась в мироздании нет.

Осень в городе. Что-то ты взялся, дружок,
За едва ли доступную тему,
Из инсульта пытаясь освоить прыжок
В неизведанную теорему...

V

Осень в городе, что же нам делать, подруга, с тобой?..
Нам известен диагноз, но как нам друг друга лечить?
Врач мой – северный ветер – насквозь прошивает обоим,
Если мы не излечим друг друга, то нас не спасут
никакие врачи.

Осень в городе... Всё, что мы сделали летом,
Нам едва удалось запереть в золотые свои закрома.

Осень в городе, как ни печально нам думать об этом,
Но достать свои клады оттуда пока не хватает
души и ума.

Осень в городе – в садиках запах антоновки острый,
У обочины дворник разводит весёлый костёр.
Жаль, что ливни и бури – родимые братья и сёстры –
Покрывают в течение суток бескрайний
российский простор.

VI

Осень в городе, может быть, вовсе не осень,
Просто некий фантом и казённый осенний наряд,
Если даже фантом, у него документа не спросим,
Впустим в дом и позволим сыграть золотой маскарад.

Осень в городе – где-то в заштатном и пыльном Джамбуле
Дряхлый госпиталь, год 43-й, сыпняк,
Заболел я давно, может, в августе, может, в июле,
И теперь мне себя не узнать: узкоглазый и жёлтый степняк.

Осень в городе, чем ты отлична от города в осени?
Сколько помню себя, разделить я вас так и не смог,
Вы друг друга бросали не раз, но так никогда и не бросили...
Полноты в этом мире не будет без вас.

Осень в городе... Ранний каток в парке Горького
От парадного входа и до Нескучного сада.
Надо срочно искать кредитора и в пункте проката
Брать «норвежки», чтоб их возвратить
только ранней весной.

Осень в городе – с чем я лежу в Воркутинской больнице?
Лёгкая травма, с которой я мог бы ходить.

Заполярное солнце никак не желает садиться,
Обращается в ранние, злые дожди.

VII

Осень в городе – время читать настоящие книги,
Убедясь, что адепты добра и любви,
Основатели главных духовных религий,
Были просто живыми людьми.

Осень в городе – это не только болезни,
Я и мысленно, и натурально бы смог повторить:
Это дружба, любовь, это книги и песни,
Это, вы мне простите словечко, возможность творить.

Осень в городе, может быть, слишком большая,
Не вмещается в ей отведённый формат...
Я добился соседства, и, ей не мешая,
Я своё вдохновенье пытаюсь поймать.

VIII

Осень в городе – кто удостоился белых одежд
И кого облакает привычно дыханием бабьего лета?..
Разве мало в искусстве транжириющих краски невежд?
И конечно, немало торгующих рифмой поэтов...

Паутинкой по осени время плывёт,
Отправляя последние стаи в полёт...

IX

Осень в городе, город без осени пуст –
Вот такой перевертыш родился у нас в межсезонье.
Под ногами последней листвы провожающий хруст,
Лёгкий шорох и шелест, звучащие как предсказанье.
Так играй же ты, ветер, и, ливень безумный, ярьсь.

Вам никак не удастся ослабить осеннюю сплотку,
Потому что она-то и есть настоящая жизнь,
При которой старуха-погода себя выдаёт
за погоду- молодку.

X

Станиславский, как ворон, сидит на дубу,
И своим он сакральным «не верю»
Нарушает свои и чужие табу,
Создавая систему и хлопая дверью.

Осень в городе. Всё-таки дожили мы
До февральских, хотя и не сильных морозов,
Закружился снежок, и внутри кутерьмы
Я могу отдохнуть от стихов и довериться прозе.

Осень в городе... Если же ляжет зима,
То придётся менять заголовок...
И конечно, не надо души и ума
Для пустых современных тусовок.

Да и ты, мой дружок-трудоголик, и ты
Собирай-ка свои причиндалы.
На морозе застывшие краски густы –
Занесём эту осень в анналы.

Осень в городе, грустно, когда мы со временем
делаем выбор,
Но ещё нам грустнее, когда его делает кто-то за нас.
Осень в городе, может быть, я бы, а может быть, ты бы
Занесли на скрижали, как долго ты, осень, гостила у нас.

XI

Осень в городе – путь от рождения и до могилы,
Освещающий внутренним светом судьбу,
и природу, и нрав,

Осень в городе – это способность и силы
Бросить ливень и ветер к подошвам
деревьев и трав.

Осень в городе – это только название картины,
Осень в городе – это только полёт паутины,
Осень в городе – это молитва по птичьему гаму,
Это только дорога, кого-то ведущая к храму.

Осень в городе – что происходит,
скажите на милость?..
То ли время само надломилось?..

ХП

Осень в городе, кто мне внушил эту тему –
Самому сочинять и решать теоремы,
Потому что мой мозг обуяла усталость,
Но ещё в нём осталось, и ещё в нём осталось...

У кого этой страсти избыток,
Многолетний таланта и самости свиток?
Впрочем, это предметы особого рода –
И при чём тут погода, при чём тут природа?

Осень в городе всё-таки стала зимой.
Надо верить, что небо сроднилось с землёй,
Отвергая судьбы карантины,
И откуда рассудка озоновый слой
Не истаял, не стал охладевшей золой,
Надо жить, создавая стихи и картины.



ИЗ НЕ ВОШЕДШЕГО
В КНИГИ



ШЛЮЗЫ

/Из «Частной хроники»/

За окнами осень. Нирвана.
Природа насущна, как хлеб.
А в комнате с телеэкрана:
«груз-двести» и траурный креп.

Наследники трубной эпохи
спроводят её в Мавзолей,
рыдания, всхлипы и вздохи
падут на простор площадей.

Откроются ржавые шлюзы,
и хлынут на траурный креп
запретные джазы и блюзы,
дешёвый студенческий хлеб.

Судьба – это ложе Прокруста,
и хочешь не хочешь – ложись,
покуда в державное русло
вливается частная жизнь...

Мы – дети того отречения,
а Время стоит на своём:
найти золотое сечение
И быт повенчать с бытиём.

ЖАЖДА

Мы с детства ждём и жаждем чуда,
нам вечно кажется: вот-вот –
откуда? может, ниоткуда? –
оно возникнет и придёт.

Какие сны, мечты и грёзы
в нас пробуждает мир чудес!
Щенки, косички, Дед Морозы,
разливы рек, рыбалки, грозы,
весенний луг и летний лес...

Объяты женщин, деньги, слава –
нам всё в охотку, в жилу, в масть!
Расчёт и хватка волкодава
/не то – бутылка и канава/
И, наконец, вершина – власть!

Но жажда чуда не проходит
и до конца стучит в висок:
– Пожить! Пожить! Ещё бы годик,
ещё денёк, ещё часок...

В СУМЕРКАХ

Воробьи купаются в фонтане,
бабье лето, сумерки светлы.
Пацаны, работая финтами,
забивают хитрые голы.

Вратаришка, рыжий и безбровый,
видно, отказали тормоза,
пропустив одиннадцатиметровый,
трёт свои пресветлые глаза.

Зрители кричат: «Судью на мыло!»
Фаны распускают кулаки,
их подружки: Маши, Даши, Милы... –
ловят кайф: – Крутые мужики!

Молодость не знает окорота,
жизнь – игра, азартна, как футбол...
В чьи сердца – открытые ворота –
будущее влечит смертный гол?..

ЖЕЗЛ И КЛЮКА

Сон – многоцветный мираж,
утро – прозреньё:
мир не картонный муляж –
Божье твореньё.
В юности слово и жест –
протуберанцы,
кажется, маршальский жезл
в солнечном ранце.
Жизнь обручит со строкой,
словно с киркою,
ранец предстанет сумой,
жезл – клюкою.

СТРАДА

Под окнами сугробы намело,
мороз выводит графику на стёклах,
зима легла на лоно листьев блёклых
без лишних репетиций – набело.

А я живу в предчувствии страды,
к закату наступает час прилива:
каракули, как заячьи следы,
на белый лист ложатся прихотливо.

Мороз утюжит Орлик и Оку,
а вьюга строит замки и лачуги,
зима по праву властвует в округе,
врывается и в окна, и в строку!

ВЕСЕННЕЕ

Когда сойдут последние снега
и птичий гам накроет мостовые,
твоя душа запросится в бега,
и ты на свет рождаешься впервые.

Весной у женщин очи – не глаза,
в них миражи, в них что-то изначально,
призывно, затаённо и отчаянно,
того и жди – откажут тормоза...

...С грачами я готов соревноваться.
Забавный старец, голос не сорви!
Как не сорвать, когда мне только двадцать,
я снова жажду славы и любви.

ВОЛЧОК

Что предъявить уходящему веку –
цепь революций, войны и СПИД?..
Можно не верить античному греку,
дважды и трижды входя в одну реку,
если вода не течёт, а стоит...

Кто заповедал земле эту драму:
чиркнул кресалом – и высек запал,
как под копирку, под фонограмму –
Гитлер, Нерон, Ашшурбанапал...

Те же мистерии, мифы и сказки –
ведьма, Кощей да Иван-дурачок,
те же подмости, котурны и маски, –
крутится-вертится время-волчок...

Разум лукав, а душа бессловесна,
им в человеке, как в камере, тесно,
пол, потолок да четыре стены, –
дьявол на страже с любой стороны.

ДОМ

Крошки махорки,
жмых да крапива,
соль гимнастёрки –
жизнь тороплива.
Чавкала глина,
звенели стропила,
с крышей для сына
жизнь торопила!
Окна зашторены,
ставни забиты,
вечные вороны
каркают сыто.
Время невинно,
время невольно, –
всё-таки стыдно,
всё-таки больно...

ЗА ОВРАГОМ

За оврагом село Заовражное,
там когда-то катали пимы,
обитатели вольные, важные
процветали во славу зимы.

Что творилось у них за воротами –
никому не положено знать...
А пимы-то, пимы – с отворотами,
мушкетёрским ботфортам под стать!

Презирая общинные сборища,
по-гусарски крутили усы,
черносошным соседям-заморышам
на кулачках дробили носы.

Коренных загоняли на Масленой,
царских яств выставляли – не счесть,
выдать девку за местного мастера
у кушцов почиталось за честь.

...Сиротеет село Заовражное,
не видать, не слышать детворы,
и страшнее нашествия вражьего
вьюга грабит дома и дворы.

ИЩИТЕ ДА ОБРЯЩЕТЕ

Ищите да обрящете войну,
она всегда дежурит у порога,
ищите да обрящете весну –
в природе человека всё от Бога.

Поднявшись в поднебесье, видишь дно,
изнанка обретения – утрата,
и лишь судьбу, как перстень Поликрата,
утратить человеку не дано.

СИМВОЛЫ

В древней мудрости – или в безумии? –
в искупление загробных скорбей
на груди у спелёнутой мумии
возлежит золотой скарабей.

У эпох свои тайны и слабости:
отчего – время тайну хранит –
жук-навозник был символом святости
и эмблемой страны пирамид?!

Какой подъём! Какая музыка!
Она зовёт за горизонт,
в ней столько страсти, столько мужества,
что мы бежим, бежим на фронт.

Ветрами времени продутые,
твердим героев имена,
но вот из чёрных репродукторов
гремит «Священная война»...

Казалось, души исчерпаем мы
на берегу Урал-реки,
где «Чёрный ворон» над Чапаевым
свершает смертные круги...

Расцвет и слава авиации.
Валерий Чкалов! Сказка-быль!
/А кто чурается овации,
все стёрты в лагерную пыль.../

Неужто жил и я на белом свете
в объятьях доброты и простоты,
когда отара катится на ветер,
вытаптывая травы и цветы?!

И девочка-подросток, дочь хозяйки,
к полудню приносила мне обед,
веснушчатая, в кофте-разлетаке,
в шальных глазах – семь бед – один ответ...

Был огурец пупырчат и прохладен,
был вкусен свежесвеженный хлеб, –
как звери, как растенья, был я жаден,
я жил в степи, и сам я был как степь.

Не ведал я, живя напропалую,
что время, словно ветер суховей,
и горечь слёз, и сладость поцелуев
развеет в знойной ярости своей.

Ни день, ни ночь, в тумане сизом
ни глубины, ни высоты,
дома мертвы, а под карнизом
склонили головы цветы.

И эта утренняя морось
так беспросветна и плотна,
неужто мир, превысив скорость,
сошёл, как поезд, с полотна?

Вот-вот и чаша накренится,
и к горизонту под углом
на полной скорости зарница
взмахнёт оранжевым крылом!

НИЩЕТА

Я в детстве породнился с нищетой,
и с той поры мы с нею неразлучны,
к несчастью, я не дервиш, не святой,
которому не нужен хлеб насущный.

Друзья носили брюки-клёш,
вельветки, шестиклинки и тельняшки,
а я всегда ходил, как тот Гаврош,
в единственной застиранной рубашке.

Я проникал, как вор, через забор –
смотреть футбол, хоккей, бега и бенди,
и всюду, отштампованный на стенде,
Генералиссимус смотрел на мой позор,
насытившись «Герцеговиной флор»...

Я вечно был влюблён, но каждой раз,
не отличаясь рыцарской отвагой,
покорно выходил на дамский вальс
с какой-нибудь прыщавой бедолагой.

Но вот судьба дала мне Музу в дар,
мне отоснились шмотки и красотки,
и я растратил первый гонорар
на пачку «Примы» и бутылку водки.

...Мне кажется, я не был молодым,
беспечным, избалованным судьбою,
а сразу стал сутулым и седым,
короче говоря, – самим собою.

ЧАСОВНЯ

Николаю Алешкову

Часовня у старинного моста.
Сусальная скупая позолота.
Парадный лик распятого Христа
в чернёном обрамлении киота.

«Молитвенник», «Канонник», ряд свечей,
слезящихся прозрачным талым воском,
как будто это слёзы из очей
прибитого гвоздями к мёртвым доскам.

Поставить свечку – примет ли Господь
сей знак смиренья, слабый и неверный,
скорбящий дух и страждущую плоть,
с рождения открытую для терний?..

Печальное, но всё же торжество,
в небесного Иисуса можно верить,
но крестный путь и рубище Его
не удаётся смертному примерить...

ПЕРЕКЛИЧКА

Цветы сошли, пожухли травы,
земля смиренным пустырём
глядит на рощи и дубравы,
просвеченные октябрём.

За перекличкою домашних
и перелётных косяков
на зеленях и свежих пашнях
пасутся тени облаков.

СКОРО

В феврале затихают морозы,
а метели теряют азарт,
скоро с южною веткой мимозы
к нам ворвётся отчаянный март.

Зазвенит и запляшет капелью,
все снега переплавит в ручьи,
а потом эстафету апреля
по-хозяйски подхватят грачи.

И пойдёт, и пойдёт по цепочке –
возвратятся домой журавли,
и откроются клейкие почки,
и в степи зацветут ковыли.

Куда ни кинусь, есть всюду минус,
всё на продажу, всё навынос...
Кометы красное пятно
глядит, глядит в моё окно.

В душе пустынно, а снаружи
ледком прихваченные лужи,
всего себя вложил в капель
и обанкротился апрель.

Искрит комета, как троллейбус,
но не торопится в гараж,
так отчего же я колеблюсь
скрестить с бумагой карандаш?

...Кормлю бессонницу стихами,
комета вместо фонаря,
а засыпаю с петухами,
когда проклюнется заря.

Дружу с кометой не случайно,
она открыла мне секрет,
что вдохновенье – грех и тайна,
и за него прощенья нет...

* * *

Во двор листвы понанесло,
Понаметало тополиной,
И нам на зависть, нам назло
Призыв несётся журавлиный...

Куда их гонит листопад
Через моря, через пустыни?
Глядишь вослед – и долгий взгляд
Освобождает от гордыни...

В ОДИН ПРИСЕСТ

Сугробы мыслей намело,
открылся мир окрест,
не отточить ли мне стило
хоть на один присест?

И пусть ещё или уже
рассудок – коренной,
но и душе не по душе
болтаться пристяжной...

Себя к столу приговорить
и жаждою родства
усыновить, удочерить
безродные слова...

* * *

В Сибири дождь, на севере пурга,
тепльня и сушь в Москве и Ленинграде,
природа не добра и не строга,
бесстрастна к наказанью и награде.

Она приоткрывает нам фасад
всемирного дворца или барака,
но что внутри, о чём они искрят,
расчисленные знаки Зодиака?

Уймьтесь вы, астролог и шаман,
не истина у вас, а точка зренья,
свобода воли – сладостный обман,
когда извне навязано смиренье...

НАСТРОЕНИЕ

Длинные тени людей и растений,
грустные зовы ночных поездов,
время потерь и часы обретений
близких сердец и чужих городов.

Скоро рассеется в мокром тумане
свет фонарей и небесных огней,
ночь одурманит, но не обманет –
сердцу в потёмках видней.

Сон не осудит, а время разбудит
трезвых, обязанных век вековать,
что уж там будет –
от нас не убудет,
нечему больше от нас убывать.

КОЛЕСО

Ходики пульсируют на стенке,
за окном пульсирует звёзда,
ночь снимает сладостные пенки,
мир освобождая от стыда.

Время поцелуев и зачатий,
время банкомётов и воров,
семь грехов из-под семи печатей
выпускает в свет ночной покров.

Небосвод метеориты мечет,
как объедки с барского стола,
если не везёт на чёт и нечет,
загадай на решку и орла.

Загадаю – всё равно не спится.
Небо в звёздах и земля в росе,
мы на равных, я – ночная спица
в мировом игральном колесе.

Разрывая звёздную подпругу,
метеор выходит из игры,
я и ночь глядим в глаза друг другу,
я и ночь на равных – до поры....

КОМНАТА СМЕХА**Поэма****I**

Что прошло, то однажды воскреснет...
Принимая судьбы маету,
пробудился я ночью от песни
весь в слезах и в холодном поту.
А слова её были простые
(не простые – душой не криви):
«Начинаются дни золотые
воровской непроглядной любви!»
Забулдыга, видать, окаянный,
под моим примостился окном
и, рыдая на пару с баяном,
всё хрипел и хрипел об одном.
Был надрывен мотив, и банальны
позабытые были слова, –
что ж я плакал в супружеской спальне
так, что юзом пошла голова?!
Где паденья и где наши выси –
не могу отличить до сих пор...
В сорок пятом в овражной Арыси
беспризорный дымится костёр.
И какой-то ворюга «в законе»,
снизойдя до сопливой братвы,
так и режет мне по сердцу: «Кони...
Чёрны-вороны кони мои!..»
А потом, чтобы нас наизнанку,
он с таким же надрывом, точь-в-точь,
прогоняет вдоль грифа «Землянку»,
«На позиции», «Тёмную ночь»...
Мне казалось, я выплакал слёзы,
стоны выстонал, высмеял смех,

от стихов опустился до прозы,
чтобы жить-поживать без помех.
Но в напеве, который однажды
проникает в тебя навсегда,
слишком много надежды и жажды,
не разбавленных солью стыда.
В нём слова и мотив нераздельны –
горше водки и слаще вина,
даже памяти посох скудельный
не нащупает зыбкого дна.
Докопаться до полного смысла
не помогут ни зреньё, ни слух,
как ни меряй секунды и числа,
не измеришь ты времени дух.
Да какой уж тут к бесу анализ,
если разум с душой на лету
поделились, потом поконались
и друг с дружкой играют в лапту?...
Я срываюсь с постели, да поздно:
«Вороных уж теперь не догнать...»
И, шатаясь, бреду, как тифозный,
свой размеренный век досыпать.

Но – во сне! – я вскочил от испуга:
кто-то грозный, как Гамбургский счёт,
загоняет меня в Пятый угол,
а из Пятого Время течёт...
Я хватаюсь руками за темя,
я пытаюсь уйти из угла, –
засосало болотное время,
затянула туманная мгла.
Не явленья, не люди, не вещи,
а лохмотья каких-то идей
наплывают, смутны и зловещи,
будто я лиходеи и злодей.

Сон во сне? – Я ни в чём не уверен,
потерял от рассудка ключи,
кто-то странный, чей облик утерян,
мне из зеркала шепчет: «Молчи!»
Сон во сне, точно в ярусе ярус,
завершающий купольный свод,
двуединный, двуликий, как Янус,
перепутавший выход и вход...

«Стали дни твои быстро бегущими,
горизонты сужаются в круг,
перед встречей с райскими кущами
чем заполнишь последний досуг?
Млечный Путь распростёрт мартирологом,
Время гонит и гонит – спеши,
точно в юрту с опущенным пологом,
в закоулки и дебри души.
Твой Пегас застоялся до одури,
встрепенись и вскочи на коня,
сторонясь скопидомов и лодырей,
пронесись, бубенцами звеня!
Только тот, кто пропахнет пропажею,
обретёт провидения нить
и сумеет словесною пряжею
бестелесное в плоть воплотить!»
Так обещано, так мне завещано
в многоярусном сне и во тьме,
но внезапно разрывы и трещины
обнажились в душе и в уме...

Ну и бред!
Хоть заглядывай в сонник...
Занавеской процеженный свет,
под луною просел подоконник,
вздыбил рёбра лимонный паркет.

Полусонной души картотека
отвергает мистический сон.
«Просыпайся, ты прожил полвека!» –
слышен голос, похожий на стон.
И сознание моё расколосось –
это стон моего двойника,
в подголоски дробящийся голос
мне аукает издалека...

II

За детдомовским садом крапива,
пёстрый луг, камыши, купыри, –
как познать это дивное диво,
если смотришь на жизнь изнутри?
В многоликом расцвеченном мире –
люди, лошади, травы, цветы;
дважды два – почему-то четыре,
непонятно, где ты, где не ты...
Ты и есть довоенное небо,
довоенная речка и луг –
двуединые дух и потреба
в карнавале друзей и подруг.
Но не детская память свидетель,
вся в зарубках и в твёрдых узлах,
развяжи – и услышишь, что дети
говорят на иных языках.
Мягкий польский и твёрдый немецкий,
и привык ли ты к ним, не привык,
это общий, обыденный, детский –
слёз и смеха всемирный язык.
Так росли мы иль так нас растили?..
«Так растили?! Давай не темни!
Посреди чернозёмной России
эти дети – откуда они?»
Что придумать и что мне ответить
недоверчивому двойнику?

Я не сыч, не петух на рассвете
и не ворон на чёрном суку.
Как проникнуть во взрослые игры,
как постигнуть, что жизнь на кону,
если «тигры» – словесные титры,
если войны – лишь игры в войну?
...Дети тех, кто бежал из Европы,
покорённой, закованной в страх,
кто тюремный удваивал опыт
в Воркуте и в других лагерях...
«Согласись, что запретные темы, –
собеседник стоит на своём, –
соблазнительны, как теоремы
в окруженье пустых аксиом?!»
... Хоть крестись, если веруешь в Бога,
с двойником далеко ль до греха,
зазеркалье – кривая дорога...
Чу! Предутренный крик петуха.

У Маруси короткая стрижка,
быстрый взгляд и друзей миллион,
а один семилетний мальчишка
безнадёжно в Марусю влюблён.
Потому что ни с кем не сравнима,
потому что прекраснее нет,
и значок Осоавиахима
довершает Марусин портрет.
Ты шпионишь, ты ходишь кругами,
ты считаешь себя подлецом,
но тебя не отвлечь пирогами,
не купить золотым леденцом.
...Усмири свои глупые чувства
и воздушные замки не строй:
друг Маруси – испанец Августо –
твой кумир и всеобщий герой.

С полуслова у них, с полувзгляда
общий дух и единый язык,
у Августо – отец Камарада,
у Маруси – отец Большевик!
Дядя Сева – большой, громогласный,
награждённый Почётным клинком,
а какой он рассказчик прекрасный,
красный конник и райвоенком.
Может, стал я на чувства скупее,
но с годами сильней и больней
сладкий запах его портупей
и скрипучая хватка ремней...

«Стоп! Сначала!» –
двойник или Некто
смотрит в душу глазами совы, –
это он, воспитательный сектор,
подголосок толпы и молвы...
Трезвый разум, души соглядатай,
это он меня гонит к столу,
это он, затолкав меня в Пятый,
сам устроился в красном углу.
От него не отделаться словом,
ни мольбою, ни строгим перстом,
все пять чувств моего душелова
обретаются в чувстве шестом:
он на страже престижа и плоти,
он на стрёме – и совесть чиста,
так лягушка живёт на болоте
и целует кувшинку в уста.
То он призрак, то зрак зазеркальный,
проникающий в мысли и сны,
полустёртый рисунок наскальный,
иероглиф другой стороны...
Вот сейчас, вот сейчас из-под спуда

он достанет резную печать,
заклеймит ею души, Иуда,
и заставит за всё отвечать.

«Ваши грёзы и ваши признанья,
несмотря на недюжинный пыл,
только щепки в потоке сознания, –
как ты плыл и куда ты приплыл?
«Пятый угол»... «Двойник»... –
Чертовщина!
Сивый бред – и цена ему грош...
Пятьдесят – это, брат, Годовщина,
тут игра пострашнее, чем ложь.
Над тобой твои годы нависли,
точно в позднюю осень плоды,
собери урожай и осмысли
заблужденья свои и труды.
Не отвешивай лишних поклонов,
ты не ангел, но ты не злодей,
только знай, что судьба миллионов –
это судьбы отдельных людей.
Позабудь о цветах и закатах
и начни: появился на свет
где-то там, в середине тридцатых,
при недобром стеченье планет.
Падал снег или сеялся дождик,
не входя в поэтический раж,
нарисуешь для фона, художник,
подходящий и скромный пейзаж...»

Я бы рад, да прошедшего ветра
не заманишь на круги своя,
никакие бредовые ретро
не догонят виток бытия.

Каждый день я рождаюсь сегодня,
чтобы завтра дожить до седин...
Время, ты повитуха и сводня,
кто я, пасынок твой или сын?
Чей там хохот и взгляд исподлобья?
Чьи там губы, ресницы и рты?
«Эти призраки, эти подобья –
ты вчерашний и нынешний ты...»
От себя не уйти, не уехать,
заповедны любые края,
а в душе, точно в комнате смеха,
толчея моих тысячи «я»...

III

Что ж, начнём...
Отзвенели капли,
и сирень отцвела под окном,
птицы пели, деревья скрипели
об одном, об одном, об одном:
как теплы материнские руки,
как широк и высок небосвод...
Ощущения, запахи, звуки...
Слово «Сталин» и слово «народ»...
Чьё-то шарканье, шорох и шёпот:
«Неожиданно взяли вчера...»
«Но ведь возраст, заслуги и опыт?!...»
«Заблужденье?.. Ошибка?.. Игра?!»
Все привычнее слово «страданье»,
Всё навязчивее – «воронок»...
Вдруг – звонок среди ночи...
Рыданье...
Звон посуды и грохот сапог...
... Ночь пройдёт, и черту под потерей
подведёт наступающий день:
прищепит опечатанной дверью,

что-то сдвинет в душе набекрень...
В память врежутся песни «О встречном»,
о «Каховке», о «крепкой броне»,
голос мамы затихнет навечно,
а отец не придёт и во сне...

Как рассудочно, смутно, несмело
на бумагу ложатся слова,
воронёное «слово и дело» –
запредельный порог естества.
Ведь и после двадцатого съезда,
а по правде сказать – до сих пор –
холодеешь, когда у подъезда
прорычит полуночный мотор...

В колыбели тебе подыграли
погремушки, цветные шары,
ты поверил в свои пасторали,
не постигнув законов игры...
Только ангел притронулся в детстве,
тут же дьявол ступил на порог,
отсекая причины от следствий,
он навеки запутал клубок.
Но над пропастью нет перехода,
если выжить тебе удалось,
милосердная к людям природа
отодвинет тебя «на авось»...
Но когда нами властвует случай,
исключение из правил земных,
каждый холмик покажется кручей,
каждый ворон – из тех вороных...

Те в шинелях, а эти в кожанках
в белозубой, безусой поре,
на дворе было пыльно и жарко,
сорок первый стоял на дворе.

Бесфамильные Гришки да Ваньки,
мы стояли в сторонке вразлад,
возле серой детдомовской баньки
разместился солдатский отряд.
Из ближайших, видать, деревенек
проводжали сестра или мать,
как крестил, как огуливал веник
их мужскую поджарую статью!
Те в кожанки, а эти в шинели
затянулись, построились в ряд,
до войны остаются недели,
на околышах звёзды горят.
Посреди комиссарского детства
ты остался с распахнутым ртом –
надышаться на них, наглядеться
за вчера, за сейчас, за потом...
Над Свапой висают стрекозы,
в небе коршун готовит бросок,
иссушает Марусины слёзы
золочёный прибрежный песок.
Гогоча, приближаются гуси,
нарастает мальчишеский свист,
потому что отец у Маруси –
враг народа и скрытый троцкист.
Звеньевая и парашютистка,
покорявшая наши сердца,
прямо с неба упала так низко,
что взяла под защиту отца.
Под защиту – прямая крамола...
Отщепенцам прощения нет,
у Маруси райком комсомола
отобрал комсомольский билет.
А всеобщий любимец Августо
увезён неизвестно куда...

Не эпоха, а ложе Прокруста,
безразмерной секиры страда.

IV

Выйти за город травами росными,
побродить у остывшей реки,
кто там светит меж сонными соснами?
Или это горят светлячки?
За рекой просыпается пригород
накануне рабочего дня,
я и там, я и здесь, точно Фигаро,
лишь в душе моей нету меня.
Всем насущным душа не насыщена,
дуновение звёздных ветров
разрывает и гонит, как нищего,
от дворцов и от сельских дворов.
Одуванчик, с рябиной соседствуя,
спит, но бодрствует в думах моих, –
перепутал причины и следствия,
оторвался от связей земных.
Озадаченный и озабоченный,
взбаламученный сном, как вином,
я стою у болотной обочины –
вижу звёздное небо вверх дном...

Млечный Путь. Тополя. Маттиолы.
Но ни звука и ни ветерка.
Существительные и глаголы,
как станочник, стоят у станка.
Заготовки темны и невзрачны,
нереальны в предутренней тьме,
лишь всевидящие телемачты
ловят небо, себе на уме...
Ночь – нашкодивший кот-подзаборник –
укрывается в Пятом углу.

Просыпается пасмурный дворник,
ставит чай и готовит метлу.
Чтобы люди, деревья и птицы,
шелестя, дребезжа и звеня,
записали на чистой странице
все события нового дня.
Никакой тебе мистики! Город,
разодетый легко и пестро,
заполняет цеха и конторы,
чтобы зло переделать в добро.
Чтобы вечной заботой о брюхе
унавозить духовный пустырь,
то слона сотворяя из мухи,
то из радуги – мыльный пузырь...

Проводив на работу домашних,
отрешиться от лунного сна
и, склоняясь над собственной пашней,
в глубину зарывать семена.
У черты между снами и явью
на съеденье молве или впрок
всунуть горло в захлѣстку удавью
ради нескольких строф или строк.
Погрузиться в наплыв вариаций,
воспарить или – камнем ко дну,
проиграться, но вдруг отыгаться,
по наитию выбрав одну!
Ничего не оставить на завтра,
выжать соки из тысяч «вчера»
и в порыве слепого азарта
невозможное взять «на ура»...
Кто придумал такую работу:
припадая к перу, как к ружью,
вместо жизни устроить охоту
не на дичь, а на душу свою?..

Мне б увидеть звезду из колодца,
мне бы спеть свою песню с листа, –
не поётся, совсем не поётся,
немота, немота, немота...
Застоялась судьба, как болото,
ржавой ряской душа поросла,
полный штиль – ни паденья, ни взлёта,
под рукой ни багра, ни весла.
Зеленеет от скуки бумага,
цвет и запах теряют цветы,
время тратит секунды, как скряга,
из копилки моей немоты.
Блёстки мыслей, обрывки мелодий,
отражения гор и морей, –
неужели в зеркальной колоде
больше нет для меня козырей?
Тут нахмурился, там усмехнулся,
тут с тоской, там с надеждой в зрачках –
отраженья потуг и конвульсий
застывают в кривых зеркалах.
В полынье равнодушия вымок,
весь пылаешь, но Некто в душе
подменяет цветной фотоснимок
грязно-серым свинцовым клише...

«Ты копал в глубину, как старатель,
но зарылся в себя, точно крот,
что нашёл, то с годами растратил,
примирайся с сумою, банкрот.
Впереди не дорожка, а бровка,
ты не смог усидеть на коне,
у тебя не Пегас – полукровка,
чистокровный в чужом табуне.
Муза – женщина, ей не впервые
отдавать свой огонь молодым,

пусть подхватят они, молодые,
шлейф, вздымающий пепел и дым...
Над тобой проживает профессор,
под тобой проживает прораб,
ты бы мог меж трудом и прогрессом
простереть свои щупальцы, краб.
Ты блажной, ты блаженный и нищий,
надо жить, как живут за стеной,
если гредишь небесною пищей,
то рискуешь лишиться земной...»

Неба много. Оно голубое.
Для любого найдётся клочок.
«Попирающий пол над тобою
попирает и твой потолок...»
Что ж, соседи – достойные люди.
Высший – сверху, а низший – внизу,
упомянем, но трогать не будем
родовое бельмо на глазу:
иерархия – вечное кредо
всех народов и всяких времён,
это общая наша победа,
это высший на свете закон...
Мой сосед – толкователь Толстого,
но, заветам его вопреки,
он, любитель народа простого,
не подставит учёной щеки...
Аспиранты и абитуриенты –
то приём, то диплом, то совет...
Что-то вроде пожизненной ренты, –
в ногу с жизнью идёт толстовед...
А прораб – настоящий трудяга,
семьянин, и его ли вина,
что в теперешнем мире и шага
невозможно ступить без вина,

что кирпич, и раствор, и проводка
в государственных Пятых углах,
что ходатай единственный – водка –
заменяет и совесть, и страх?..

V

Трезвый разум, держа меня в страхе,
в стороне от возможных грехов,
то мне в руки суёт альманахи,
то журналы, то книги стихов.
Предлагает водицу и ступу,
чтобы я без ошибок и проб,
изучая других через лупу,
на себя наводил телескоп.
Я пытаюсь руками потрогать,
обозначить, как виды грибов:
это страсть, это грязная похоть,
это дружба, а это любовь...
Не выходит – я чувствую кожей,
как душа обращается вспять,
чтобы промысел чей-то отхожий
Божьим промыслом мог я считать.
Стружки мыслей да общие строки
вербовать напрокат и внаём
да внимать стрекотанью сороки,
притворяющейся соловьём.
Чтобы я между Богом и чёртом,
как Иван, что не помнит родства,
взял займы у судьбы круг почёта,
не считая за грех воровства...

Юбилей. Немота. Наваждение:
в толщу лет опустить эхолот,
если эхо отметит паденье –
что ж, падение – тоже полёт...

Или свистнуть в свирель камышинки,
и застойная плесень куги
обнажит золотые кувшинки
и погонит, погонит круги...
...Мир непознанный – мир беспричинный,
как он в детстве скрывает нутро!
Где-то найденный нож перочинный –
и богатство твоё, и добро.
Вожденным и хитрым железом,
если с ним познакомиться вплоть,
можно сделать свисток и зарезать,
сделать дудочку и заколоть...
А слова, а улыбки, а жесты
над поверхностью качеств и числ:
«Тили-тесто жених и невеста!» –
озорной и волнующий смысл...
В ходе жизни и в ходе ученья
на тебя надевают узду
и, ещё не открыв назначенья,
прививают, как оспу, беду.
По шажку приближаешься к Шагу:
гордый тем, что умеешь писать,
ты бездумно подпишешь бумагу
и осудишь родимую мать...
Эти лозунги, песни, парады
заглушат колыбельный мотив,
но в душе нарастают распады
и подспудно готовится взрыв...

Было время – дрожали колени,
ветви сердца роняли листки
от заплочной расплывчатой тени,
от обычной житейской тоски.
Было время – ничтожная малость:
шорох платья, дымок резеды –

и в восторге душа подымалась
от канавы до ранней звезды.
Это Муза, пришпорив Пегаса,
словно в цирке, на полном скаку,
вытворяла свои выкрутасы
так, что каждое лыко в строку!
Я прошу у неё: «Раскошешься!
Вместо солнца взойди надо мной,
дай побыть мне и звёздным пришельцем,
и бескрылой букашкой земной...»

«Нет! Теперь я тебе не учитель,
сам садовник – возделывай сад,
ведь поэт – постановщик, и зритель,
и актёр от макушки до пят.
На ошибки свои и потери
не набрасывай радужный флёр,
в круговерти интриг и мистерий
только правде не нужен суфлёр.
Не проси у меня вдохновенья,
ты, хитрец, не обманешь меня:
извлекай свой запас откровенья,
что припрятал до чёрного дня...»

Чёрный день оставляю на старость,
залезаю за словом в карман,
и пергамент, широкий, как парус,
направляет ладью в океан.
Ничего не боюсь – отбоялся,
доверяюсь ночному рулю,
пусть по прихоти звёздного галса
назначается путь кораблю.
...До зари, до звёзды ли вечерней
от внезапных и щедрых даров
измочалишься, как виночерпий,
надышавшийся пьяных паров...

VI

Юбилей.

Из приюта гармоний
обратимся в божемный приют,
ибо тем, кто не служит мамоне,
отпущенья грехов не дают.
– Говорят, он совсем исписался...
– Бросил пить, присмирел и затих...
– Что-то высосет снова из пальца...
– Сволочь! Хочет быть лучше других...
Я готов позабыть день рожденья,
что за каждый мой крохотный взлёт
доброхоты в охотничьем бденье
бьют меня, точно вальдшнепа, влёт.
Шепотков анонимное эхо
разрастается по выражу, –
я отходчив, я в комнату смеха
всех желающих снова ввожу.
Шляпы, галстуки, блузки и платья –
(ничего не жалею – юбилей!),
поцелуй и рукопожатья,
поздравлений и здравиц елей.
Бард с гитарой, поэт, архитектор...
Все, кто зван и кому по пути,
чьи-то жёны, подруги и Некто,
уж не мой ли двойник во плоти?
Тош и бледен – ни кожи, ни рожи,
он явился сюда неспроста,
мы с ним так зазеркально похожи,
как распятый похож на Христа:
я – сегодняшний, праздничный, праздный,
вновь со щедрою Музой «на ты»,
он – вчерашний, болотный, бесстрастный,
весь во власти своей немоты.

Я не против него, я не против,
как-никак мы немного сродни,
но боюсь, чтобы тень моей плоти
не оставила душу в тени...
Вот художник, поклонник Сезанна,
одарённый и честный чудаки,
с бородой и душой партизана,
обживающий пыльный чердак.
Он владеет широкою кистью,
но, в житейской борьбе неуклюж,
осеняет осенние листья
на поверхности пасмурных луж.
Он романтик, ему не открылось,
что другие у жизни в чести,
наделённым талантом на вырост
нелегко до судьбы дорасти...

Вот философ, очкастый и полный,
этот, двигаясь только вперёд,
несмотря на житейские волны,
перешёл философию вброд.
Был рабочим, студентом, солдатом,
пропахал миллионы страниц,
мог бы стать кандидатом – куда там! –
пациенту душевных больниц...
Он, отдельный и оригинальный,
адекватный себе самому,
оторвался от масс – ненормальный,
философствует – горе ему!..

Плодовитый и рыхлый прозаик,
несмотря на обличье скопца,
сквозь ресницы соседей пронзает
снисходительным взором творца.
Почитая народ простофилей,

он кричит о добре и о зле,
скудость чувств и убожество стилия
искупая «любовью к земле»...

Вот приبلудный солдатик с подругой,
чей-то шурин, а может быть, друг,
в общем – «парень не нашего круга»,
если он существует, «наш круг»...
Для него наши вирши как шлафор
для молоденькой модницы, он
в модный стиль мета-мета-метафор
и в брейк-данс безнадежно влюблен...

Волосатый брюнет от асфальта,
лысоватый блондин от сохи, –
слаще мёда и твёрже базальта
их поэмы, баллады, стихи.

Лысоватый сидит, подбоченясь,
хлестки руки, спортивна спина,
он привык перепрыгивать через
все поветрия, все времена.
Пьёт на свадьбе, икает на тризне,
похмеляется в каждом пиру,
но зато, присягая Отчизне,
он красно говорит на миру:
«Распашу я широкое поле,
разгуляюсь на вешнем лугу
и своё золотое раздолье
не отдам я злодею врагу!»

А брюнет?
Извините-подвиньтесь!
У него бы достало ума
обуздать термоядерный синтез,
доказать теорему Ферма.

Методист и бесстрастный анатом,
острослов, полиглот и знаток,
он умеет мельчайший свой атом
приструнить и направить в поток...

Описал бы других, но, признаюсь,
глянец лысин и буйство волос
вызывают не злость и не зависть,
но обиду и жалость до слёз.
Все таланты, пророки, провидцы,
честь и совесть общественных групп,
корифеи убогих провинций,
обожающих собственный пуп.
Все от скуки любители выпить,
тет-а-тет подыграть леваку
и оплакать несчастную Припять,
словно чирий у нас на боку...
Не случайно ханжи и кликуши,
заглушая свой собственный «SOS»,
призывают спасти наши души,
возвышают свой голос до звёзд...

«Ты мастак посылать укоризны
внешним силам, природе, судьбе, –
как дошли вы до этакой жизни,
проследи-ка, дружок, по себе!»
Я бы мог...

«Не кивай на сиротство,
как ворона, пугаясь куста,
ты не раз променял первородство,
а считаешь, что совесть чиста.
Не к лицу тебе хлопать в ладоши,
не к лицу замыкаться скорбя:
крест, что был твоей собственной ношей,
он, единственный, вынес тебя...»

VII

Затрапезные юрты аула,
пирамиды сухих кизяков,
старики, как крючки саксаула,
лай дворняжек да рёв ишаков.
Суховой просвистит, как по нотам,
слижет травы, засыплет пёском,
пахнет гарью, овечьим помётом,
конским потом и злым табаком.
О победе ни слуху ни духу,
похоронки зажав в кулаки,
дохлебаем свою затируху
и пойдём собирать колоски.

Бак с водою застрял у арька –
не осилить уставшей руке,
вдоль оврага растёт ежевика,
дикий голубь орлит вдалеке.
Может, он окликает подругу,
что сидит над птенцами в гнезде, –
в небе ходит стервятник по кругу,
отражается в мутной воде.
Мы сидим. Нам с тобою по восемь.
Мы ещё не дозрели до слов.
Если выживем вместе, то спросим:
а бывает ли в детстве любовь?..
Отчего нам легко и неловко,
отчего ты внезапным рывком
обнажённую тифом головку
прикрываешь рогожным платком?..
На старинном дунганском кладбище
ни креста, ни могильной плиты,
только ветер забвения ищет,
нервы памяти вяжет в жгуты.

Злая память как сеть паутины,
не придумают кисть и язык
сотворённой природой картины:
ежевика, стервятник, арык...
Если есть на земле сострадание –
чья вина на невинных плечах?
Как могло погасить мирозданье
столь смиренный и слабый очаг?
Не ответит ни друг и ни враг...
Даже разум готов на попятный,
он не свяжет с концами концы:
значит, солнцу положены пятна,
как цветущей степи солонцы...

О стихия случайных компаний!
Ведь пока вы нуждаетесь в них,
есть лекарство от самокопаний,
от унылых гераней и книг.
Пусть расплывчаты, пусть легковесны
эти жесты, улыбки, слова,
да не всё же пучины и бездны –
иногда среди них острова.
Хлебосолье – большая наука,
нужно так запустить самотёк,
чтобы самый отъявленный бука
припустился откалывать рок.
И уже от тяжёлого рока
сотрясаются стены и пол –
вот он, дьявол, дождавшийся срока,
металлической плоти глагол...
В смрадном запахе пудры и пота,
в диких жестах и в мимике лиц
жеребиная зреет охота,
нарастает экстаз кобылиц...
Гомо сапиенс!

Гомо цивилис!
Добираясь до сути вещей,
с кем мы сцапались,
с кем мы сцепились
ради джинсов и жирных борщей?..

Так шумит юбилей...
И вдоль грифа
прогоняет «цыганочку» бард, –
он меня отвлекает от тифа,
он в июль переносит мой март.
Никогда я за прошлое не пил,
неужели сдают тормоза
и кизячный сиреневый пепел
застилает туманом глаза?
Не вино, а кровавая накипь...
Из глубин каменистой земли
прорастали тюльпаны и маки
и в укор человеку цвели.
Забивали сады, огороды,
брали штурмом холмы и поля,
и в тифозном угаре природы
под ногами ходила земля.
Я готов поддержать менестреля,
в юбилейный врубиться содом,
мне бы только в начале апреля
из больницы вернуться в детдом –
под диктовку весёлой и стадной
и почти травоядной судьбы
выводить на линейке тетрадной:
«Всё для фронта» и «Мы не рабы»...
Не рабы... Но ни хлеба, ни соли
не хватает голодной братве,
лишь стручки залежавшейся сои
да бобов в прошлогодней ботве.

Мы богаты душевным здоровьем
(запоздалая совесть, молчи!),
нам на счастье к родимым гнездовьям
прилетали весною грачи...
На деревьях, в степи, под застрехой
птичьи гнёзда – утеха братвы. ...
А в сегодняшней комнате смеха
проседают столы от жратвы...

Ледоколом пройдя меж торосов,
укрощая стихию стола,
пару истин измыслит философ
для поддержки добра против зла:
«Всё на свете пестро и ничейно,
есть один абсолют – это страх!
А пространство и время Эйнштейна –
разум жизни в кривых зеркалах.
Мы всё празднуем – ваньку валяем,
будто держим все нити в руках, –
мир не познан и не управляем,
и таким его делает страх.
Воля к власти, конечно, от страха,
жажда славы – опять от него,
ближе к телу – чужая рубаха! –
кроме этого, нет ничего...»
А закончит он пышною фразой,
к налитому бокалу спеша:
«Да, отец мироздания – разум,
ну а мать мирозданья – душа...»
... Я, как автор, попутно замечу,
поклоняясь большому уму:
диалектика противоречий
адекватна ему самому...
Импозантный, свободно-игривый,
как художник, рисующий шарж,

наш брюнет потрясёт своей гривой
и предпримет ответный демарш:
«Даже будь я рождённым в рубашке,
я бы отдал удел мудреца
за пыльцу белобрысой ромашки,
за дырявый лопух у крыльца,
за рассудочность женского взгляда,
что таит безрассудство души,
за строку, где ни склада, ни лада,
но живут и шуршат камыши...
В этом мире ничто не случайно,
если есть соловьи и цветы
и – да здравствуют! – связаны тайной
жажда плоти и дым красоты!»

И внезапно, как сыч полуночный,
мой угрюмый, мой бледный двойник
то ли в пику мне, то ли нарочно
в долгосрочный срывается крик:
«Что ни шаг, то тупик или камень!
Если выглянуть в это окно,
нам покажется – небо над нами,
но под нами ведь тоже оно...
Невозможно ни сверху, ни сбоку,
под изломанным звёздным углом
разгадать и провидеть эпоху:
кто мы, что мы, куда мы идём...
Где то семя, та ранняя завязь,
из которых на свет родились
равнодушие, ненависть, зависть,
вечный двигатель злобы – корысть?
Нет! С какой бы космической точки
ты ни бросил свой призрачный взгляд,
не прорвёшь ты земной оболочки,
не нарушишь всесветный обряд.

Хоть ты к Богу являйся с повинной –
или кто там стоит у руля? –
если связан с землёй пуповиной,
ты – земля и твой разум – земля...»
Немота ему служит обузой,
так написано нам на роду:
если ты не в ладу с своей Музой,
то и с жизнью самой не в ладу...

Но, увы! Сей учёнейший диспут
на гостей нагоняет тоску:
архитектор смакует редиску,
славный бард вожделеёт к пивку.
Отхлебнув, он подстроит гитару
и, отвергнув мистический бред,
сочинит и вручит юбиляру
патентованный жизнью куплет:
– Если вам пятьдесят, не горюйте,
вы как раз посредине любви,
жизнь – игра, улыбаясь, тасуйте
свои козыри – годы свои...
– На-до-е-ло! – подруга солдата
продирается из-за стола,
простовата, зато таровата,
всё, что надо, природа дала.
– Эй, гитара, давай «сербиянку»!
Прожигают паркет каблучки...
У солдата душа наизнанку,
из глазниц вылезают зрачки.
– А мой залётка маленький
как цветочек аленький,
да он под горочкой живёт,
а кто увидит, тот сорвёт...
Эх, раз да ещё раз,
кто увидит, тот сорвёт...

– Это что ж вы затеяли на ночь?! –
заявляется нижний сосед.
– Юбилей... Ты присядь-ка, Иваныч...
– Замочить? – он смеётся в ответ.
Славный гость из простого народа,
представляющий класс-гегемон,
пьёт с закуской – такая порода,
по пословице «пьян, да умён»...

Было, было...
И в тридцать, и в сорок...
И поэт, и философ, и бард
так же щедро транжирили порох
алкоголем зажжённых петард.
И такой же приبلудный солдатик,
озираясь, сидел за столом
и краснел за невестин халатик,
разметавшийся пёстрым крылом.
И прораб, и ещё не профессор,
но уже кандидат и доцент,
величавый сосед, словно кесарь,
сниходил с высоты на момент...
Но тогда я за прошлое не пил.
Неужели сдают тормоза
и кизячный сиреневый пепел
застилает туманом глаза?..

VIII

Дистрофию не вылечишь луком...
Если грезится плов и лукум,
предпочтенье опасным наукам
отдаёт твой бесхитростный ум.
Голод – вождь, агитатор, оратор...
Совершая набег на Арысь,
ты не жулик, а экспроприатор
по тылам окопавшихся крыс.

К этим людям, трусливым и жадным,
беспощаден и неумолим,
ты считаешь себя Жан Вальжаном
или даже Котовским самим!..
Барахолка и верхняя полка,
поножовщина, «феня», картёж
превратят не в шакала, так в волка,
и покатишься, и пропадёшь...

Время выветрит запах параши,
сменит масти в «очко» и в «буре»,
но останется в памяти нашей
главный туз в колониетской игре:
толстобрюхий, с короткою шеёй,
хитромудрый, как царь Соломон,
тыловик, он не нюхал траншеи,
надзиратель по кличке «Закон».
Но зато он завёл тут обычай
отпускать в предрассветную рань
колонистов в Чимкент за добычей
и взимать с них законную дань.
Кастелянша – его королева
(мощный бюст и подтянутый зад!)
заводила себе кавалеров
среди этих надёжных ребят..
Ты завидовал тем, кто постарше,
кто «в законе», кто маху не даст..
Вечерами старинные марши
доносились из парка до нас.
Городские франтихи и франты
и вчерашние фронтовики –
кителя, крепдешины и банты, –
но для нас они все интенданты,
ненавистные тыловики..
В двух шагах от гранёной решётки,

в двух минутах от тяжких ворот
в шестиклинках мои одногодки
мне завидуют – дикий народ!
Видно, мир для них слишком огромен,
демон детства, ревнивец и льстец,
обещает им лагерный роман
«Ванька-смык – покоритель сердец...»
Распродав саксаула вязанку,
презирая беду и нужду,
пацанва затевает «орлянку»,
бьёт сопатки у нас на виду...
... Не для форса, не ради «клубнички»,
не затем, чтоб внести колорит,
вспоминаю я наши привычки,
приблатнённый и мусорный быт,
лишь когда раскрываешь кавычки,
избавляешься от обезлички,
и тогда уж – «никто не забыт»...

Там, в краю золотых абрикосов,
где, на зависть соседним краям,
жил поэт, математик, философ
и король звездочётов Хайям...
Там, заложник святого Корана,
с телескопом наперевес
незадачливый внук Тамерлана
шёл на приступ свободных небес...
Сновиденьями юности ранней
остаются в тебе навсегда
Гур-Эмира отвесные грани,
многоцветная Шахи-Зинда...

Этот город, войною не тронутый,
вековечный, глубинный, лепной,
застоялся в душе, точно в омуте,

с минаретом, с арыком, с луной,
с ишаками, надрывно ревущими,
с кизяками в метровой пыли
да с мечетями, в небе несущими
мусульманские шпильки свои.
Муэдзина фальцет над святынями,
над прохладой урючных садов
и над площадью, пахнущей дынями,
потной шерстью и гнилью плодов.
Там, блуждая глазами нетрезвыми,
над гармошкой склоняясь навзрыд,
проскрипит мне по сердцу протезами
престарелый солдат-инвалид...

День Победы проплыл над перронами,
от беды и от счастья слепой,
он завис над весенними кронами
и над пёстрой базарной толпой.
Прописался в Ташкенте и в Люберцах,
поселился в Москве и в Орле, –
всюду лепят землянки и любят
за себя и за тех, кто в земле.
И хотя трудоднями убогими
измеряют немереный труд,
чуть не сны облагают налогами,
но сирень и тюльпаны цветут.
И хотя ковыряем мотыгами
задубелой земли черноту,
но ночуем в лугах и на выгоне
вечерами играем в лапту...
И в помине пока ещё культа нет,
Сталин – песня, плакат или марш,
по-бульдожьби в каком-то там Фултоне
воет Черчилль (запомнился шарж)...

В гимнастёрке, а то и в нательной,
в сапогах да в худых башмаках
дух Победы стал духом артельным,
собирающим пепел и прах.
Пусть ни шила ещё и ни мыла
и ни отчего даже угла,
но уже загудели стропила,
зазвенели топор и пила.
Не пылилась в чулане гармошка,
раздувая мехи, как меха,
хотя ей подпевала окрошка
из крапивы да из лопуха.
И душа, чуть прикрытая плотью,
не коптила, как ночью свеча,
мы носили простые лохмотья,
словно шубу с царёва плеча!

Для тебя ли соткали и вышили
холст судьбы? И на этом холсте
бледный Марс над вагонными крышами
и фонарь проводницы в хвосте.
Но когда от собачьего ящика
дотянулся глазами до звёзд,
забывай про утраты, как ящерка
забывает утраченный хвост.
И последняя в мире разлучница,
погребальный убор теребя,
поглядит-поглядит и разучится
раньше времени трогать тебя...

Я не камень в цветистом декоруме,
не узор на персидском ковре,
не аскет и не дервиш, которыми
воздвигаются очи горе...

И не шпили – гранёные рашпили
сквозь голодные вижу зрачки,
хохочу от бессилья и кашляю
над болванкой, зажатой в тиски.
Где-то там корпуса общежития
то ли с жизнью, а то ли с игрой, –
не заставишь сегодня события
рассчитаться на первый-второй.
Где-то там Комсомольское озеро,
где-то райские кущи в садах,
может, память разъела коррозия,
может, это в других городах?
Те же запахи, те же мелодии,
тот же снег, тот ж пух тополей
проплывают над детской колонией,
что и над ремеслухой твоей...

IX

А когда подуставшие гости
начинают позёвывать в горсть,
тем подлейте, а этим подбросьте..
Чу! Звонок... Уж не главный ли гость?
Ведь судьба все узлы развязала,
навела через годы мосты.
Нет, не он..
– Ты откуда?
– С вокзала... Узнаёшь, это я, из Москвы!
Нет, не с ним, если небо с овчинку,
разгружали мы в Химках баржи,
распивали свою четвертинку
и делили свои миражи...

Может, где-то на сопках Маньчжурии,
может, в гиблой таёжной глуши
старый друг без еды и без курева
проживает остатки души.

Третьи сутки не видно напарника,
задержали на станции груз,
спички вышли, на сеть накомарника
налепился породистый гнус...
Был мой друг горняком и геологом,
а у них повелось искони
жизнь, как лодку, протаскивать волоком,
на болотные править огни.
Буреломами да перекатами
поле жизни держать под уздцы,
собирая восходы с закатами,
как в заплечный рюкзак образцы.
...Друг с последнею чёрствую коркою
прямо в Пятые лезет углы,
мы, пресытившись сладким, пьём горькую,
от жратвы проседают столы...
Наши дамы, почти голубицами
(каюсь – зря их назвал кобылицами)
над семейным альбомом склонясь,
с умиленно-овечьими лицами
вспоминают и охают всласть...
... Фотографии старых приятелей.
Групповой юбилейный портрет
Дон-Кихотов, зубрил, прожигателей,
но кого-то здесь, кажется, нет.
Проползли, пронеслись коридорами,
позабросили книги и спорт,
обросли именами, моторами,
облысели у лунных реторт.
Кто на Полюсе, кто в «Метрополисе»,
асимметрия круглой земли
да нехитрый закон Кориолиса
тех свели, а других развели.
Тот корпит без претензий на жречество,
этот корни пустил в кабинет –
дорогое моё человечество!

Но кого же здесь всё-таки нет?
Кто остался за кадром, за зеркалом,
не проявленный, как негатив,
не измеренный общими мерками,
не охвачен, не вписан в актив?
Где-то шастает он по обочинам,
то расхристанный, то озабоченный,
упирается лбом в тупики
всем открытым дверям вопреки.
Всё мне кажется – вот он покажется,
Зазеркалье покинув на миг,
и окажет себя – и окажется
неосвоенным, как материк.
То судьбой, то мечтой увлекаемый
на путях-перепутьях земных,
кто-то должен бродить неприкаянно
для спокойствия всех остальных...

Вологодский ли с долей сиротской
или купянский с кучей родни
под сосной, под родимой берёзкой
отдыхают в тиши и в тени.
Горд, как лорд, или кроток, как инок, –
скрупулёзно сочтём и зачтём,
но сначала зароем в суглинок,
закопаем в глухой чернозём.
Ты теперь в своём теле Коперник,
открыватель межзвёздных путей,
потому что ты нам не соперник,
обнимайся с судьбою, Антей...

Двери – настезь!
Приятель московский,
открывая объятья свои,
мне с порога кричит по-ноздрёвски:

– Я, брат, доктор! Директор НИИ!
Вот он, бывший король преферанса:
седина, эспаньолка, живот...
если черти не снимут с баланса,
академиком станет вот-вот!
Похититель убогих стипендий,
женолюб сей учёнейший муж,
на лице у него, как на стенде,
вся коллекция скальпов и душ.
Он ссужал нам из наших же денег,
чтобы снова обыгрывать... Он
в этом деле давно академик,
чёрный ворон над стаей ворон.
Этот туз из московской колоды,
обстоятельный шулер и рвач,
стережёт меня все эти годы,
словно первую жертву палач.
То он в злобе на мир, то в экстазе
объясняется миру в любви –
таковы современные связи,
что хоть Фрейда на помощь зови...
Я его представляю застолью,
приглушив отголоски страстей,
он умеет быть перцем и солью
для любого пошиба гостей.
Он отыщет и метод, и способ,
то елей применяя, то яд,
не напрасно брюнет и философ
на него так ревниво глядят.
И солдатик бесцветные брови
сводит, сидя в питейном раю:
уж невеста его наготове –
поправляет причёску свою...
И хотя разведёнка Ирина
прижимается к барду-дружку,

как к соседнему дубу рябина,
но глаза у неё начеку...

Х

Муж хозяйки погиб в сорок пятом,
сын Иван возвратился без ног,
Тоська с Витькой да я вместо брата,
голодуха, разруха, налог...
У хозяйки работа простая –
вывозить на коровах навоз,
трудодни втихомолку считая...
Ваня – шорник, а я – водовоз.
Тоська с Витькой – тринадцать и десять –
собирают кизяк да курай,
злую глину ножонками месят –
строим домик и лепим сарай.
Подворовываем понемножку
от беды да великой нужды
ремешок ли, гнилую картошку
да бочонок казённой воды...
Ближе к осени (дом недостроен,
трудодень не оплачен пока)
фининспектор, откормлен и строен,
нас пытается взять за бока.
Он стоит посредине подворья
в галифе и защитном френче,
и планшетка – вместилище горя –
провисает на левом плече.
Отодвинув нас в сторону грубо,
начал сад вымерять, да не смог,
потому что корявый обрубок
обхватил голенища сапог...
(Дело в том, что в безводную супёсь
зарывая картошки глазки,
мы попутную делали глупость –
посадили в саду черенки.)

Бормоча, что случилась ошибка,
и ещё что-то там бормоча,
он ушёл, одарив нас улыбкой
недотёпистого палача...
Лик вождя всё грозней, всё исконней, –
не хватает углов и гвоздей...
А уж местные воры в законе
пострашнее далёких вождей:
обладатели синих пакетов
(у Хозяина пряник и жнут!)
правят бал сатаны и при этом
пожинают, хотя и не жнут...
А народ под вождём как под богом, –
от узды не сойти с борозды,
оскорблённый новейшим налогом,
вырубает под корень сады.
... Заскорузнут глухие пеньки,
зарастут лопухом и бурьяном
и упрячутся, как кулаки,
по пустым и дырявым карманам...
Время – лекарь. Оно вместо пластыря.
Но уже для подземного царствия
доплетается времени сеть,
и десница державного пастыря
разомкнётся и выронит плеть...
А пока в ожиданье финала,
в искупленье бессонных ночей
то погром ленинградских журналов,
то московское «дело врачей»...

А пока, как грибы шампиньоны,
из удобренной манией мглы:
морганисты, фрейдисты, шпионы –
отпущенья родные козлы...

Пахнет юрта кошмою и куртом,
тянет влагой с заснеженных гор,
в тишине догорает за юртой
предрассветный чабанский костёр.
Снеговыми хребтами зашторен,
прямо в небе висит горизонт,
доцветают шиповник и тёрн,
кружит голову горный озон.
Вновь судьба – мой пастух, я – подпасок,
я брожу по горам, по стерне,
сотни запахов, тысячи красок
наплывут-перебродят во мне...
... Этот мир незамужних доярок,
скрытых снов и открытых грехов
так томителен, душен и ярок –
поневоле дойдёшь до стихов.
То ли с завистью к их ухажёрам,
то ли с ревностью к их женихам,
с тайной страстью и с тайным позором
поклоняешься сладким грехам. ...
Отойди, примиришь, пососедствуй,
лёгким облачком в солнечный день
перед тем, как уйти без последствий,
наведи свою тень на плетень, –
ибо в царство весёлого ситца
беспризорных путей не найти,
надо с неба на землю спуститься,
чтоб душою до них дорасти...
И стоишь, одинокий и робкий,
неприметная серая мышь,
на краю танцевальной коробки
самосадам дымишь и дымишь.
Твой соперник... какой-нибудь Лёша,
грозной фиксой блистая впотьмах,
проплывает в невиданных клёшах

и «казбечину» нянчит в губах. ...
Он её обнимает открыто,
он небрежно роняет слова,
и победно гремит «Риорита»,
как фанфары его торжества...
Достояться до «белого» танца,
присоседившись к карагачу,
и внезапно услышать: «Останься...
Я тебя танцевать поучу...»
Обжигаясь о талию, к платью
прикасаюсь с опаской, и вдруг,
оступившись, в невольном объятье
обхватить свой спасательный круг!
А когда, очумев от досады,
примеряя в кармане кастет,
на два слова поманит фиксатый,
убедиться, что выхода нет,
и мальчишескими кулаками
молотить темноту наугад
и гордиться потом синяками,
словно ранами старый солдат.
Возомнив о себе – небожитель! –
завалиться в вагон полевой
или в старый соломокопнитель,
среди поля заросший травой.
По-язычески спишь полуголым
и, чуть солнце коснётся ресниц,
загустевшим к утру солидолом
заполняешь тавотницу-шприц.
Зной, да ветер, да злая полова
так набьют и нажгут остюки,
что не взвидишь дунганского плова
и едва добредёшь до реки.
Но кидаешь ли в поле солому
или грузишь зерно на току,

ты к свиданью развеешь истому
на бегу, на лету, на скаку...
А когда полевые бригады
у ночного сойдутся котла,
светят звёзды, стрекочут цикады,
ночь темна, да надежда светла!
И однажды, теряя нескладность,
со стыдом, со слезами, с тоской
ты насытишь телесную жадность
и обрушишься в гордый покой...
Или вдруг, под влияньем минуты,
ощущая и гордость, и боль,
от наплыва неведомой смуты
затоскуешь: «И это любовь?!» ...
Запах пыли, махорки и пота,
чад солярки и дух кизяка –
это юность, любовь и работа
мне аукают издавека...

XI

Мой москвич, словно мультик рисованный,
фаворит юбилея, москвич,
произносит не слишком рискованный
и вполне отшлифованный спич.
Поднимает бокал за Платонова,
за Булгакова, за Шукшина,
говоря: «Объективность учёного –
вот что важно во все времена...»
Головою мотая по-бычьи,
он частенько косит на меня:
заливай, дорогой, я забывчив,
заливайся, бокалом звеня.
Да и дело-то было простое:
кто зауживал брюки, тот враг,
аспирант и радетель устоев
был грозой институтских стилиг.

... Надо всем и над вся зубоскалая
и в охотку смакуя винцо,
то он к слову помянет Паскаля,
то для Кафки подыщет словцо...
Боги... Йоги... Дворянские корни...
Полутайны и тайны «Двора» –
что за мир, прихотливый и вздорный,
что за масти и что за игра?!
Новомодные бесы и ангелы,
впрочем, сам он не ангел, не бес,
он, учёный, в особенном ранге
пребывает по воле небес.
Он – связник между всеми орбитами,
положение дел таково,
что все карты окажутся битыми,
если в прикупе нету его!..
Но уж как ни мутил бы он воду,
а войдёт в свою главную роль:
из кармана достанет колоду,
скажет: – Пульку, хозяин?..
– Уволь!..
Пульки, пульки...
Смешной, чужелищый,
нарастивший вопросов горбы,
посредине великой столицы
я вскочил на запятки судьбы.
Трубным маршем, торжественной мессой
в поднебесье гремели слова:
«Гаудеамус», «зачёты», «профессор»,
«общежитье», «студент» и «Москва»!
Кто из нас не грешил верхоглядством,
не был молод и не был открыт,
не выплёскивал дружбы и братства
в немудрёный студенческий быт?

Что с того, что сумели не все мы
ограничить своё бытие
искусительным духом богемы,
не вкушая от плоти её?!
Но когда оглядишься, остынешь,
будни быта и будни наук
нелинейными и непростыми
сторонами сужаются в круг.
Стаи формул, лишённые смысла,
очевидных корней и причин,
допускающих мнимые числа
даже в мире больших величин...

Новый курс и вчерашняя давка
на невиданных похоронах,
жизнь-корректор единственной правкой
слово «страх» переправит на «крах».
Вспоминаешь ли, друг мой единственный,
как бродили с тобой до утра
по Москве, взбудораженной истиной,
о которой не знали вчера,
по столице, невиданно-искренней,
горевавшей, кричавшей «ура!»?
Как стояли у страшного здания,
в зарешеченный глядя фасад?
Злые крики, свистки и рыдания
от стены отражались стократ.
Словно белые пальцы над чётками,
луч луны зависал над решётками
и тревожный притягивал взгляд.
Это там, за тяжёлыми шторами,
за тройными стальными затворами,
в чёрных сейфах, в дубовых столах
притаились «маруси» и «вороны»,
человечий клевавшие прах.

И в разгаре стихийного митинга,
захлестнув нас ударной волной,
кто-то горестно выдохнул: – Митенька!
Кто-то выстонал: – Саша, родной!
И какие-то местные жители,
горлопаны, шпана подшофе,
заорали: – Шпионы! Вредители!
...Этот дом, этот гроб – там родители
похоронены в тесной графе...
Кто-то выдернул кол из штaketницы,
но другой – воплощённая власть –
тут же выстрелил вверх из ракетницы,
и понуро толпа разошлась...

Нет, недолго мы были в ударе:
съезд Двадцатый, Хрущёв, целина,
первый спутник, Фидель и Гагарин,
пострадавших людей имена!
Древо кульга не выдрано с корнем,
новый вождь, семи пядей во лбу,
обзаводится собственной дворней,
возрождая всё те же табу.
Обещаний и лозунгов – рынок,
здравомыслия – аукцион,
тупорылый хрущёвский ботинок
колошматит трибуну ООН.
От трагедий летим к мелодраме,
от ракет – до тупых топоров,
до распашки лугов с пустырями
да запрета крестьянских коров.
То Овечкин, то Яшин – помеха,
Пастернак получает сполна –
от державы до комнаты смеха
на качелях качалась страна...

XII

Разве можешь ты стать ротозеем,
немузейной судьбы ученик?
Пробежишь, пролетишь сквозь музеи,
сквозь страницы мудрёнейших книг.
По касательной, мимо куда-то,
неизвестно, зачем и куда...
А в глухом переулке Арбата
поджидают любовь и беда.
Отыскались, как в стоге иголка,
в многоликой и пёстрой толпе
брат-священник и мать-богомолка,
не семья, а сплошное ЧП.
Полудетская робость и грубость
и надрывные слёзы сквозь смех,
тут же тонкость, но тут же и глупость,
и пронзающий святостью грех...
... Отойди, примиришь, пососедствуй,
отчурайся от узеньких плеч,
одинокой душе не по средствам
приручить, отогреть и сберечь...
Так мне думалось, так мне казалось,
сам, едва приручённый людьми,
разве мог я представить, что жалость
и сильнее, и горше любви?!
Были клятвы и были свиданья
на Донской и в Нескучном саду,
и проклятия, и предсказанья,
что кипеть нам обоим в аду...
Увезти бы, похитить по-горски,
да ведь жизнь – лотерейный билет,
в многокупольном светлом Загорске
дым камильниц размыл её след.
Все пути в лабиринты науки
перекрыла потери стена,

что ж, судьбу не возьмёшь на поруки,
не изменишь её письма.
Цепь крепка, да разрознены звенья,
жизнь не сказка, где меч-кладенец,
разрубая узлы преткновенья,
приближает счастливый конец.
Зов судьбы или случая прихоть
проведут сквозь богему и транс...
Преферанс и бутылка – не выход,
привокзальные шлюхи – не шанс...
Да какой уж тут к чёрту анализ,
если разум с душой на лету
поделились, потом поконались
и друг с дружкой играют в лапту.
Ослеплённый вином и виною,
я увидел загадочный сон,
будто стонет-гудит подо мною
воркутинский дощатый перрон.
Что ж, была конура у собаки:
Бородинский, Донская, Фили,
там, где были посажены маки,
вдруг колючки в груди расцвели...
Пятый угол наплыл и растаял,
возвращая мне слёзы и смех,
стаи формул и воронов стаи
напророчили тундру и снег.
Мне досадно теперь признаваться,
но обязан идти до конца:
по наивности (было мне двадцать)
я надеялся встретить отца...
Мне созвездья полярные снились,
но, когда из промозглых глубин
в первый раз на поверхность я вылез,
я шагал в общежитие один.

Остальных увели конвоиры,
не успел я привыкнуть пока,
что шахтёры и их командиры
были все поголовно зека...
Опираясь о наледь каната –
вдоль дорожки тянулся канат, –
я его обнимал, точно брата,
я к нему прижимался, как брат.
Был я счастлив, что всё получилось,
я гордился, что всё обошлось:
мне никто не оказывал милость,
не швырял милосердия кость, –
я проталкивал стойки креплений,
наживлял и снимал рештаки,
ободрал о породу колени,
чуть не в глотку вогнал позвонки...
Но сперва я сидел на наряде,
зажимая в коленях кайло,
не по книге и не по тетради
постигая своё ремесло.
Густобровый начальник участка,
глухо кашляя в старый платок
(ТБЦ?!), приговаривал часто:
«Рештаки... вагонетки... куток...»
И тоскливо мне было, и больно,
но напрасно искал я ответ,
кто тут вольный, а кто подневольный,
никаких тебе внешних примет.
Ни надрыва, ни даже порыва,
чей-то кашель, зевота, смешок...
Полусумрачно-полуигриво...
И – едва уловимый душок...
Да и то: разгляди-ка попробуй,
продерись сквозь скупые слова,
что за сердце таится под робой,
что за мысли таит голова?

Дух безверья, надежды и веры,
злой мести? Суди, порицай –
коммунист ли, каратель Бандеры,
вор в законе, бандит, полицай?..
Сели в клеть и – во чрево земное,
шли по штреку во мгле и в пыли
и хозяйство своё добычное,
мне казалось, случайно нашли.
Опускали на тросах комбайн
круто склоном куда-то туда...
– Эй, чего застоялся, как барин?!
Это мне... Я вспотел от стыда...
– Новичок? – кто-то тощий и длинный
усмехается: – Дуй до горы!
– Это как это?..
– Кверху за глиной..
Да живёе – отпалим шпуры.
Отпалили и без перебоя –
весь забой, как один человек,
уголёк наш волнами прибоя
плыл и падал в откаточный штрек.
... Я не мог отыскать поворота,
ветер с Карских ворот, ледяной,
вынуждал меня эти ворота
оставлять за усталой спиной.
Будто сила осмысленной злобы,
напирала стихия пурги,
я шагал, зарываясь в сугробы,
падал, полз и не видел ни зги.
Я совсем обессилел... и с жизнью
я уже распростился и сник,
и тогда я увидел капризный,
чуть мигающий в тундре ночник...
Как голодный, гонимый утробой
за последним на свете куском,

задыхаясь, я полз по сугробам,
примагниченный тем огоньком.
В стороне, заметённый метелью,
в ледяной заполярной стране,
над младенческой колыбелью
он мерцал и подмигивал мне.
Оттирали меня что есть мочи,
и, в себя приходя кое-как,
я услышал: – Нет! Тут, брат, не Сочи...
Тут спрямить невозможно никак. –
К нам из горенки вышла хозяйка,
покачала, смеясь, головой:
– Вот те, паря, белье, надевай-ка,
слава Богу, живой-то, живо-ой!
За стеною заплакал ребёнок,
и она заспешила к нему,
видно, с запахом первых пелёнок
добрый дух поселился в дому.
– Без детей-то нельзя человеку...
Ну дак мы отмотали срока,
кое-как поскребли по сусекам
и на радость слепили сынка!
Он рассказывал без напряженья,
что в семнадцать ушёл на войну,
под Смоленском попал в окруженье,
а потом оказался в плену.
Он шутил, называл меня «кореш»,
ну а я, как свалился с луны,
всё глотал, но не сглатывал горечь –
горечь спирта, беды и вины...
Каплет кровля, царапает земник,
дышит стойка, и гнётся распил,
комбайнёр – настоящий волшебник –
вводит в русло сноровку и пыл.

Не для денег, не ради почёта
их обыденно-каторжный труд:
сто процентов – не будет зачёта,
сто двенадцать – день за три зачтут.
Бесконечные зоны и лавы,
те же завтра, что были вчера,
вагонетки, вагоны, составы
на-гора, на-гора, на-гора...
Беспросветные серые будни,
не судьба, а дырявый сосуд,
каждый день тут воистину Судный,
время мчится да сроки ползут...
Колонист, беспризорник, бродяга,
я не раз попадал в оборот,
но не знал, что ворота ГУЛАГа
начинаются с Карских ворот.
Сатана ли с нечистою свитой,
прославляя себя на века,
порешил отогреть Ледовитый
скудной плотью и духом зека?..
Вот и он отсидел по зачётам.
– Говорят, там готовится съезд? –
и рукою махнул: – Да чего там! –
Ворон сдох, а ворона не съест...

XIII

Не года, а секунды считающий,
неподвластный душе и уму,
вечный Некто, во мне обитающий,
не даёт мне побыть одному.
Это он, воплотившийся в облике
двойника, что напротив меня,
издевается: – Ты как на облаке,
разомлел, будто рядом родня...
Ты забыл, как, поэмой растроганный,
лысоватый нажрался до слёз,

а наутро в особые Органы
полётел анонимный донос?
Как прозаик с глазами бараньими
превознёс твой рассказ до небес,
а наутро на важном собрании
раздраконил тебя и исчез?
Твой москвич управляет колодою,
как пиратской шхуною Дрейк,
твой солдатик, истерзанный модою,
спит и видит развинченный брейк.
Отчего не позвать и профессора?
Снизойдёт и зайдёт толстовед
и с величием римского кесаря
передаст от науки привет.
Всё постыдное, мелкое, грязное,
облачённое в сладкую ложь,
ты смешал с алкоголем и, празднуя,
свою душу продал ни за грош.
Твоя совесть – старуха-уборщица –
подтирает полы и не морщится,
вымывая чужие плевки,
Кто оценит твоё всепрощение?
Ты всегда был козлом отпущения!»
... Зато сны мои были легки!
Все мы люди, и все мы соседи,
современники, братья, друзья,
драга жизни и времени сети
неизбежны для каждого «я».
Холодильник, сервант, телевизор...
Полный короб потех и утех,
всем потопам бросающий вызов
персональный бетонный ковчег.
Нам хватает колёс и турусов,
а когда оторвут от игры,
с удовольствием празднуем трусов,

с удовольствием катим с горы.
Под сурдинку, в эзоповом стиле
поминаем о шиле в мешке,
о лекарственных ядах рептилий,
о верблюде в игольном ушке.
Нам теперь что страда, что эстрада...
За какую нас дёргали нить,
чтобы всех в беспородное стадо
обратить и вконец развратить?!
Всё усушки вокруг да утруски,
рукавом закуси – и вперед...
По-геройски, по-свойски, по-русски! –
кто не пьёт, тот плохой патриот...
Если плоть выжигают калёным,
то и души горят от клейма,
ни гордыней, ни смертным поклоном
не наполнить судьбы закрома...

Лунный свет на полу как мозаика
в прихотливом сплетенье теней,
капитальной фигура прозаика,
лица женщин бледней и смутней.
В бороде молодого художника
заблудился салатный листок,
и подруга его остороженько
достаёт из корсажа платок.
Лысоватый, огурчиком хрумкая
(он недаром народный поэт!),
не зеваёт и рюмку за рюмкою
посылает в себя, как дуплет.
Трезвый Некто похож на лунатика,
а москвич – не отвлечь калачом –
всё к подруге хмельного солдата
прижимается тяжким плечом...

Ведь всегда есть одна между сёстрами –
неразборчива и горяча,
та, что дразнит ресничками острыми,
лёгкой блузкой, приснятой с плеча,
и словами, и мыслями праздными
поджигает застолье и зал,
пахнет ревностью, пахнет соблазнами,
зреет зависть, обида, скандал...
Но хозяйка мудра и внимательна,
словно снайпер, спускает курок,
водружая на стол обязательный,
под конец припасённый пирог.
И над ним, как надстройка над базисом,
в ореоле высоких речей
зажигаются, светятся, гасятся
пятьдесят юбилейных свечей!
За окном предрассветное марево.
Израсходовав лунный лимит,
ночь устала себя разбазаривать,
только комната смеха дымит...

XIV

Утомлённый вчерашней бессонницей,
щедрой Музой, гостями, собой,
я ложусь, голова моя клонится,
я лечу на свиданье с судьбой. ...
Пол зеркальный, и стены зеркальные,
и зеркальный вокруг шепоток:
«Между молотом и наковальнею
всяк сверчок занимай свой шесток...»
Я хотел бы казаться невидимым,
я твержу себе: «Сон это, сон!»
Но меня вызывают в президиум,
за которым поют в унисон.
Зеркала, частоколы, шлагбаумы...

Полусвет-полуцвет витражей...
Здесь людей избавляют от «зауми»,
от непрошенных снов-миражей.
Два хирурга с правами таможенников
и особый духовный судья
у поэтов, актёров, художников
изымают излишние «я».
Безболезненно и не без грации,
словно это всего лишь обряд,
совершаются здесь операции,
ибо ведают те, что творят..
Выхожу на высокий просцениум,
предъявляю свой дряхлый шесток,
замираю и жду с нетерпением –
вот судья приподнял молоток...



БИБЛИОГРАФИЯ

Книги Н. М. Перовского

Поэзия

1. Звёзды делает человек: Стихи / Художник Лебедев В.И. – Белгород: Белгородское книжное издательство, 1961. – 46 с. (3000 экз.)
2. Голуби, голуби... / Вступ. ст. Наровчатова С.С. – Белгород: Белгородское книжное издательство, 1964. – 86 с. (3000 экз.)
3. Небо: Стихи / Художник Снегур И. – М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1965. – 96 с. (10 000 экз.)
4. Испытание: Стихи / Художник Ахунов М.Ф. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное издательство, 1967. – 43 с. (10 000 экз.)
5. Осенние костры: Стихи / Художник Зорикова Л. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное издательство, 1969. – 46 с. (10 000 экз.)
6. Август: Стихи и поэмы / Художник Зибров Ю. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное издательство, 1973. – 103 с. (10 000 экз.)
7. Грани: Стихи и поэмы / Художник Тимохин Ю.Н. – Тула: Приокское книжное издательство, 1979. – 61 с. (3000 экз.)
8. В пути: Стихи и поэмы / Художник Прокуратова Т. – Тула: Приокское книжное издательство, 1986. – 63 с. (6000 экз.)
9. Память любви: Стихи / Художник Рязанцев С. – Тула: Приокское книжное издательство, 1990. – 79 с. (4000 экз.)
10. Старое танго: Стихи / Худож. оформление Сурковой Л. – Орёл: Вешние воды, 1993. – 76 с. (650 экз.)
11. В расколдованном мире: Стихи / Художник Блинова Т.С. – Орёл: Издательство «Мостинжсервис – РЭМ», 1996. – 44 с. (100 экз.)
12. Чьи-то сновиденья провожая: Стихи разных лет / Художник Блинова Т.С. – Орёл: Вешние воды, 1997. – 189 с.
13. Ночные города. Стихи. – Железногорск: Издательство «Школяр», 1997. – 40 с. (50 экз.)
14. Корни и крона / Вступ. ст. Ермакова И. Художник Блинова Т.С. – Орёл: Вешние воды, 1999. – 188 с. (1200 экз.)
15. Иное царство. [«Венки сонетов».] / Автопредисловие. Художник Блинова Т.С. Дизайн обложки Блинов В.Н. – М.: Глобус, 2002. – 112 с. (1000 экз.)
16. Звезда упала: Избранная лирика / Редактор-составитель Алешков Н. Вступ. ст. Агибалова Л. Художник Белова-Недовизий О. – Набережные Челны, 2002. – 104 с. (300 экз.)
17. Лебеди на Орлике / Вступ. ст. Тюрина Г.А. Художник Блинова Т.С. – Орёл: Вешние воды, 2002. – 208 с. (1200 экз.)

18. Время / Художник Сорокина О.А. – Орёл: Вешние воды, 2005. – 135 с. (1200 экз.)

19. Осень в городе. – [Без выходных сведений]. – 14 с.

20. Журавли не только улетают... Стихи. Проза. Воспоминания/ Художник Блинова Т.С. – Орёл: Вешние воды, 2009. – 474 с., 16 с. ил. (1200 экз.).

Проза

21. Дорога к дому: Повести и рассказы/ Художник Халиков В.С. – Тула: Приокское книжное издательство, 1983. – 176 с. (30 000 экз.)

22. Стоит гора высокая: Повести и рассказы / Художник Никулин Е. – Тула: Приокское книжное издательство, 1991. – 285 с. (серия «Приокская проза», 10 000 экз.).

Издания о творчестве Н.М. Перовского

Орловский край в русской литературе XX–XXI веков: исследования, публикации, сообщения. Выпуск 2: Памяти Н.М. Перовского: В 2-х книгах / Автор научного проекта (серия, выпуск), ответ. ред. и сост. Тюрин Г.А. – Орёл: Издательство ОГУ, Издательство «Вешние воды», 2009.

Тюрин Г.А. Орловский литературный некрополь: Материалы к биобиблиографическому словарю. – Выпуск 1: Перовский Н.М. (1934–2007 гг.). – Орёл: ОГУ, 2011. – 40 с., ил. (Приложение к изданию-серии «Орловский край в русской литературе XX–XXI веков: исследования, публикации, сообщения»).

Библиографические источники

Писатели нашего края. – Белгород, 1965. – С. 68–69.

Писатели Орловского края: Биобиблиографический указатель / Под общей редакцией Муратовой К.Д. и Шевелёвой Г.М. – Орёл: Орловское отделение Приокского книжного издательства, 1981. – С. 330–331.

Писатели Белгородчины: Библиографический указатель / Составители Аносова Л.Н., Маракина Н.А., Петрова Т.В., Шапошникова К.Н. – Белгород, 1990. – С. 117–119.

Чупринин С.И. Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. Т. 2: М – Я. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – С. 203.

Библиографический указатель публикаций и изданий железнодорожников. 1957–2007/ Составитель Козлов В.П. – Железнодорожск, 2007.

Орловская писательская организация за 50 лет: Биобиблиографический справочник / Сост. Лысенко А.И. Ред. совет: Попов Г.А., Кондратенко А.И., Фролов А.В., Садовский В.Ф. – Орёл: Вешние воды, 2011. – С. 206–211.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Поэзия как кораблекрушение</i>	3
---	---

ЗВЁЗДЫ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК (1961 г.)

«Я к небу стремился путями любыми...»	9
Окраины	10
Аппассионата	11
На картине	14

ГОЛУБИ, ГОЛУБИ (1964 г.)

Библиотекарша	17
Галчонок	18
Старик	20
В ночном	22
Глоток воды	23
Воркутинский дневник	24
«Далёкий первый запах осени...»	25
Журавли	25
Прозреньё	26

НЕБО (1965 г.)

Ещё о голубях	29
Листопад	30
«Мы быстро забываем и хороним...»	33
Баянист	34

ИСПЫТАНИЕ (1967 г.)

«Всё сказано, и всё-таки скажу...»	37
«Ты не приходишь в сад отцветший...»	38
Лиде	39
«Откуда этот цвет у неба?...»	40
Август	41
Осенние стихи	43
Парк Горького	44

ОСЕННИЕ КОСТРЫ (1969 г.)

Из целинного дневника	49
«Ворвётся ветер к нам с полей...»	50
«Сойти на станции чужой...»	51
Осенние костры	52
«Так небо пасмурно, и так вокруг темно...»	55
Янтарь	56

«Я заблудился, как в лесу...»	56
«О, вечный дух противоречья! ...»	57
Сушняк	58
Весной	59
«Куриный бог»	61
Артек	63
Море	64
Таврида	65
«Прощай, золотая жар-птица!...»	66

АВГУСТ (1973 г.)

«В старинной бухте у причала...»	69
«У Графской пристани зелёная вода...»	70
«Глухая тишина легла на Карадаг...»	71
«Пастух играет на свирели...»	72
«Внезапно попадёшься на крючок...»	72
«Дома уснувшие и спящие в домах...»	73
Звёзды	74
Ночные города	75
Ночной аэродром	76
Из стихов «о главном»	77
День Победы	79

ГРАНИ (1979 г.)

Бессонница	83
«Когда от пыли и от зноя...»	84
«И снова этот запах...»	85
«Пусты поля, и голы огороды...»	86
«Выбегаю к первому трамваю...»	86
Девчонка	87
Мартовская поэма	88
Дом Волошина	93
Философ	95
О рыжем демоне	97

В ПУТИ (1986 г.)

Тропа	101
«Всё из того, золотого, запаса...»	102
Картина	103
Весна	104
За городом	105
«Опять на юг уходит лето...»	106
Природа	107
Флоксы	108
На Орлике	109
Под лучом леденящей звезды	111

«Какой судьбы – какие кисти...»	112
«Друзей поблѣкшие черты ...»	113
Ау!	114
В Мерзляковском переулке	115
Геометрия жизни	117
«Жизнь не отбрасывала тени...»	118
«В райцентре хоронили старика...»	118
«На пепелища и кресты...»	119
«Гляди! Пушистый жеребѣнок...»	120
Человек	121
Углы	122
Чудо	123
«Ты мне чужда...»	124
Слепых оконцев кружево резное	125
Ялта	126
«Жить! На закате и рассвете...»	128

ПАМЯТЬ ЛЮБВИ (1990 г.)

«Когда капли накопились...»	131
Корни	131
Трава, цветы	132
«Холода Среднерусской равнины...»	133
Туман	133
Последние льдины	134
В сонном молчанье	135
«Стопа твоя легка...»	136
Игра	137
«Мы были голодны и босы...»	138
Баллада о краюхе хлеба	139
Баллада о раннем друге	141
Сапоги	143
Тимоша	144
Поклоны	145
Колодец	146
Памяти поэта	147
Легенда	148
Чужак	150
Сократ	153
Диоген	154

СТАРОЕ ТАНГО (1993 г.)

Благовест	157
Лебеди на Орлике	158
Степное озеро	159
Чайхана	160

Сушняк	161
Листопад	162
Паутина	162
Петербург	163
Променад	164
Соблазн	165
Гроза	166
Дева	167
Любовь	168

В РАСКОЛДОВАННОМ МИРЕ (1996 г.)

В расколдованном мире	171
В роли акына	172
Время	173
Крест	173
Россия без креста	174
Муравей	175
Звезда	176
Брожу по осени	177
«Висячий мостик. Ряска над водой...»	178
Взаимы	179
Имя	179
Тепло	180
Аллея	181
Дождик	181
Звезда упала	182
Ливень	182
«Морозцем тронута рябина...»	183
Коктебель	184
Стрекоза	186

ЧЬИ-ТО СНОВИДЕНЬЯ ПРОВОЖАЯ (1997 г.)

Ковчег	189
Город	190
В Детском парке	191
Ночные кварталы	192
Дворник	193
Картина	194
Концерт	195
Не от мира... ..	196
Зола	197
Тени	198
Рынок	200
Тень	200
Пегас	201
Строчка	202

Наш дом.....	203
Месим глину	204
Плита	205
Зима	206
Потоп	206
Тюльпаны	207
Голубятники.....	208
Лапта.....	210
Заводь.....	211
«Афродита выходит из пены...»	212

КОРНИ И КРОНА (1999 г.)

Проходные дворы.....	217
Мираж	218
Арбовоз	220
Розарий	222
Мастера	223
Фальстарт	225
Ностальгия	226
Белогорье	227
Просто однажды.....	228
Во сне	229
Отчуждение	229
Бомж	230
Лишний	230
Приговор.....	231
Вёрсты	232
Упал в траву.....	233
Родник	233
Вдохновение.....	234
Степь.....	235
Весна.....	236
Зов.....	237
Камень	238
Лунная ночь.....	239
Аноним.....	240
Смотреть на звёзды.....	241
Болдинская осень.....	242
Дождь	243
Ван Гог	245
Звон тетивы	246
После грозы	247
Ворон	248
Трясина	249
Агат	250
Слова	251

Куст сирени	251
Отбор	252
Нарасхват	253
Мэтр	254
Пятна	255
«Ничто не вечно под луной...»	256
Осень	256
Сентябрь	257
Взаимы	257
«Напластовались сугробы буден...»	258
Регушь	258
Орфей	259
Девчонки	259
«Ещё до слов, ещё до встреч...»	260
Пекарня (из поэмы)	261

ИНОЕ ЦАРСТВО (2002 г.)

Предчувствие весны	265
Отражения	272

ЗВЕЗДА УПАЛА (2002 г.)

Во сне и наяву	281
Жизнь прожить... ..	282
«Порхали платья, пахли маттиолы...»	282
Узлы	283
Полынья	284

ЛЕБЕДИ НА ОРЛИКЕ (2002 г.)

Ещё заигрываю с музой	287
Блажь	288
«Нам от Бога смиренье завещано...»	289
«Облака постирали...»	289
Весна	290
Цветы	291
«Терпки запахи и звуки...»	291
Затмение	292
Дорога	293
Сцена у фонтана	294
Театр	295
Уроки музыки	296
В кущах	297
Девочка	297
Дремлют лилии в озёрах,	298
Первый снег	299
Щенок	300
Эхо	301

Каблучки.....	301
Мы играли.....	302
Забутые.....	303

ВРЕМЯ (2005 г.)

За чертой невезения.....	307
Весна.....	308
Черёмуховы холода.....	309
Сирень.....	309
Бежин луг.....	310
Что в нашей доле?.....	311
Перед рассветом.....	312
Полнолуние.....	313
Земля.....	315
В унисон.....	315
Обыденность.....	316
Прощай.....	317
Гадалка.....	318
«Человек, привычно утомлённый...».....	319
Игрушки.....	320
Кисть и перо.....	321
Картина.....	322
Пушкин.....	323
Моцарт.....	323
Душа и тело.....	324
Истома.....	324
Суфлёр.....	325
Однажды.....	325
Опять.....	326
Несказанное.....	327
Мгновение.....	328
Завязь.....	329
Ночные стихи.....	330
Грации.....	331
Сад.....	332
Встань и иди!.....	333
Что происходит?.....	334
Осенние строфы.....	334
Таволжанка.....	335
Час пик.....	336
Теперь.....	337
Гаснут свечи каштанов.....	338
Кумач.....	339
Стерня.....	340
Хлеб да соль.....	341

Лёнька	342
Хутор	343
Застава	344
Духовой	345
В день Победы	346
Война	347
Герой	347
Ностальгия по Севастополю	348
На Карадаг	349
Тесей	350
Сон	352
«Бывает так: растёт среди подруг...»	352
«И что мне райский остров Целебес...»	353

ЖУРАВЛИ НЕ ТОЛЬКО УЛЕТАЮТ (2009 г.)

Журавли не только улетают	357
«Я сказал: научи меня, степь...»	357
Тайна	358
Свобода	359
«Можно подняться к могиле Волошина...»	360
Партенит и вокруг	361
После бурелома	364
Жизнь	365
Маска	366
«Риорита»	367
Стручки	368
Ночь	369
Птицы	370
Ремесло	371
Осень в городе	372

ИЗ НЕ ВОШЕДШЕГО В КНИГИ

Шлюзы (Из «Частной хроники»)	381
Жажда	382
В сумерках	383
Жезл и клюка	383
Страда	384
Весеннее	384
Волчок	385
Дом	386
За оврагом	387
Ищите да обрящите	388
Символы	388
«Какой подъём! Какая музыка!...»	389
«Неужто жил и я на белом свете...»	390

«Ни день, ни ночь, в тумане сизом...»	391
Нищета	392
Часовня	393
Перекличка.....	394
Скоро	394
«Куда ни кинусь, есть всюду минус...».....	395
«Во двор листвы понанесло...»	396
В один присест	396
«В Сибири дождь, на севере пурга...».....	397
Настроение	398
Колесо	399
Комната смеха (Поэма).....	400
<i>Библиография. Книги Н. М. Перовского</i>	454

Николай Михайлович Перовский

КНИГА КНИГ

Избранные стихотворения

Составители: *Л.И. Перовская, М.Н. Перовская,*
Г.А. Тюрин

Художники: *Ольга Душечкина, Михаил Душечкин*
Корректор *А. А. Гудкова*



Издательство «Вешние воды».
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.

Подписано в печать 1.12.2014 г. Формат 84x108²/₃₂.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 300 экз. Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ОАО «Типография «Труд»».
302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.